

ОПЕР СОМОВ

ЧУЖАЯ СМЕНА



Р.Е.Тард

Саша Лист

КНИГА ПЕРВАЯ

Роман Тард

Опер Сомов: Чужая смена

«Автор»

2026

Тард Р. Е.

Опер Сомов: Чужая смена / Р. Е. Тард — «Автор», 2026

В 2026-м я был оперативником. В 1978-м очнулся у двери магазина: рядом раненый напарник, за спиной женщина, впереди — нож. Чужое тело, чужое имя. Знакомая работа. Теперь я — лейтенант Николай Сомов. Мне двадцать шесть, хотя опыта хватило бы на двоих. Впереди налётчики, исчезнувший водитель и партия пистолетов, которая гуляет по городу. Как я сюда попал — разберусь потом. Сначала нужно спасти людей, заслужить доверие напарника и не выдать себя сестре, которая слишком хорошо знает прежнего Сомова. Мне досталась чужая смена. Но людей на ней я уже считаю своими.

© Тард Р. Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. На чужом асфальте	5
Глава 2. Меня зовут Сомов	10
Глава 3. Человек у гаражей	27
Глава 4. Первое закрытое дело	38
Глава 5. Плата за койку	48
Глава 6. Не тот сборщик	59
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Роман Тард

Опер Сомов: Чужая смена

Глава 1. На чужом асфальте

Первым было плечо.

Левое, под самой ключицей, — тупая, разлитая боль, какая бывает, когда со всего маху влетаешь в угол. Косяк, в который я этим плечом упирался, был деревянный, обитый по кромке железной полосой, и загнутый гвоздь в полосе цеплял куртку. Я стоял. Это я понял раньше всего остального: стою, не лежу, ноги держат, под подошвами асфальт — неровный, в трещинах, — и подошвы тонкие, не мои.

Потом пришло всё сразу, как приходит, когда выныриваешь.

Сумерки, серо-синие, ещё не темнота. Лампочка над головой в проволочном колпаке, и от неё на асфальте жёлтый круг. Двор — узкий, длинный, зажатый между глухой кирпичной стеной и задней стеной дома: вдоль кирпича стопками пустые деревянные ящики, у самой двери, под лампочкой, ещё стопка таких же, дальше низкий сарай под толем, дальше ворота — широкие, двустворчатые, одна створка приоткрыта в улицу, и за створкой светлее, чем здесь. Слева от меня, привалившись к стене у двери, стоял мужчина лет под сорок, в пиджаке, и правой рукой держал левую под локтем. Из-под пальцев у него текло — тёмное, в этом свете почти чёрное, — до кисти, и с кисти капало на асфальт. Перед ним, в трёх шагах, стоял второй, молодой, худой, в клетчатой рубашке навывпуск, и в правой руке у него был нож.

Нож я увидел раньше, чем лицо. Так всегда: сначала железо, потом человек.

Лезвие короткое, узкое, но настоящее, не перочинное. Держал он его прямым хватом, остриём вперёд, локоть чуть отведён, — как держат те, кто никогда не учился, но уже один раз ударил и понял, что это просто. Он шёл на раненого. Не быстро — мелкими шажками, вперёд и вбок, и всё время говорил, высоким голосом, с придыханием:

— ...стой где стоишь, я сказал! Я сказал — стой! Ты чё, не понял? Тебе мало было?

За спиной у меня был свет — открытая дверь, за ней помещение с низким потолком, — и оттуда женское дыхание, частое. Я не оглянулся, но краем глаза взял: женщина в рабочем халате, руки прижаты к груди, стоит в проёме между мной и прилавком с весами. И ещё один человек, дальше во дворе, у ящиков, ближе к воротам: в кепке, руки пустые, стоит полуотвернувшись. Так стоят у обочины люди, которые уже решили не участвовать.

Значит, так. Нож — один. Тот, что с ножом, — на раненого. Раненый — рядом со мной, с моей стороны двери, и стоит он так, чтобы женщина была за ним; он на неё не смотрел, но стоял именно так. Второй у ящиков — пока никто. А я торчу в косяке, как гвоздь, и всё это происходит в шаге от меня.

Рука, которой я упирался в косяк, была не моя.

Я это увидел просто потому, что она попала в свет. Уже в запястье, моложе, костяшки гладкие, без набитых бугров, какие у меня с двадцати лет. Рукав — тёмно-серая куртка, каких я никогда не носил; манжета светлой рубашки; ниже — тёмные брюки и кожаные туфли на тонкой подошве. Я в жизни не выходил на задержание в туфлях.

Всё это — за то время, за какое человек с ножом сделал ещё полшага.

Голова была ясная. Ясней, чем надо. Приложился я плечом, не головой, — это я проверил сразу, как проверяют оружие. Секунду назад — я бы поклялся — я был в другом месте, и там кончалось что-то совсем другое. Но об этом можно было думать потом. Раненый был вот. Женщина была вот. Нож был вот. И это было ровно то, чем я занимался всю жизнь, — что бы там ни случилось с руками.

— Назад, Нина, — сказал раненый, не оборачиваясь. Голос негромкий, ровный, и по этой ровности было слышно, что человек не первый год на этой работе. — За косяк. Ну.

Женщина не двинулась. Двинулся я.

Правой рукой я взял его сзади за воротник пиджака — плотно, в кулак — и дёрнул на себя и вбок, мимо себя, в проём. Он не ждал, качнулся, сделал два шага, которых делать не собирался, и оказался за мной, в дверях, спиной к женщине. А я вышел из косяка — на его место, на асфальт, в жёлтый круг — и встал между ножом и дверью.

Левое плечо отозвалось. Не так, чтобы рука не поднялась — поднялась, — но с опозданием, будто её тянули за верёвочку, и в конце движения что-то тупо толкнуло изнутри. Ушиб. Хорошо, что ушиб. Запомнил: левая медленнее.

— В подсобку, — сказал я через плечо. — Оба. За прилавок.

— Да не толкайте вы, — сердито сказала женщина. — Иду я. Иду.

Тот, с ножом, остановился. Он явно не рассчитывал, что кто-то выйдет ему навстречу; он до сих пор на меня и не смотрел, я был для него вещью в косяке. Теперь смотрел. Лицо узкое, губы мокрые, глаза бегают — с ножа на меня, с меня на дверь, с двери на того, у ящиков.

— Э, — сказал он. — Э, ты куда полез? Легавый, ты куда полез, я не понял?

Легавый. Ладно. Значит, я — милиция, а он — наш клиент. Чей я и откуда — разберёмся; сторона у меня та же, на которой стоял всю жизнь.

— Игорь, — сказал тот, у ящиков, негромко и очень разумно. — Игорь, не надо. Слышишь меня? Кончай. Пошли отсюда, ну их.

Игорь, значит. А второй — разумный. Второму хотелось уйти, у него это в голосе было всё: уйти, и чтоб без него. Он и шагнул — но не к воротам, а ко мне; вернее, к двери за мной; на полшага, не больше, — и посмотрел мимо меня в светлый проём, в подсобку. Долгим таким взглядом, каким смотрят на своё, оставленное не там, где надо. Потом опять на нож. Потом на ворота.

Я это отметил и убрал. Не сейчас.

Рука сама дёрнулась к правому боку, под куртку, — и ничего там не нашла. Ни кобуры, ни ремня, ни привычной тяжести. Куртка и рубашка. Это тоже пришлось убрать. Значит, руками.

— Я тебя тоже достану, понял? — сказал Игорь. Он снова пошёл — теперь на меня, теми же шажками, и нож у него ходил вправо-влево, как будто он выбирал, откуда. — Думаешь, я испугался? Ты на него посмотри. На руку его посмотри — это я. Мне не слабо.

Ему было слабо. Это было видно по ногам: они не шли, они переступали, и он всё время оказывался чуть дальше, чем собирался. Но нож в руке у человека, которому слабо, режет так же, как у любого другого, и на раненого у стены его хватило.

Он взмахнул. Широко, снизу вбок, на уровне моего живота, — так машут, когда хотят напугать, а не попасть, — и я дал ему это сделать, отшагнув на полшага. Лезвие прошло в ладони от куртки, я слышал, как оно свистнуло. От собственного размаха он развернулся ко мне полубоком, правая рука ушла в сторону, и на полсекунды он открылся весь — от колена до лица.

Я вошёл в эти полсекунды.

Правой ногой, голенью, — в наружную сторону его левого бедра, на ладонь выше колена, с шагом, всем весом. Нога у него подломилась — не упал, но просел и повёл плечом, чтобы удержаться, — и над этим плечом, в скулу, я вложил правый локоть. Коротко, снизу вверх, с поворотом корпуса. Хрустнуло — не кость, зубы о губу. Голова у него мотнулась, он отлетел спиной в ящики, стопка разъехалась, два верхних свалились и загремели по асфальту, а он сел на нижний, на ребро, с размаху — и оттуда боком свалился на землю.

Нож он не выпустил.

Я это увидел сразу: кулак сжат, лезвие торчит, и он уже подтягивает руку под себя, чтобы встать. Я потянулся к этой руке левой — и опоздал. Плечо. Левая пошла, как через воду,

пальцы взяли пустой воздух там, где только что была его кисть, а он успел откатиться за ящики. Поднялся — не вскочил, поднялся рывком, боком, зажимая ладонью рот, — и оттуда, через два опрокинутых ящика, выставил в мою сторону нож. По подбородку у него текло. Губа лопнула, он сплюнул тёмным на асфальт и что-то сказал — невнятное, злое, шепелявое.

Но он был там — у ящиков, у кирпичной стены, — а не у двери. Между ним и дверью стоял я. Это было первое, что мне сегодня удалось, и я успел это почувствовать: короткий тёплый толчок под грудиной, который всегда приходил, когда ход получался. Он пришёл и сегодня. Тело было чужое, а это — моё.

— Стёпа! — заорал Игорь. Не мне. — Стёпа, ну?! Ну?!

Стёпа — тот, в кепке, — уже шёл к воротам. Не бежал: шёл быстро, боком, лицом к нам, отступая, и говорил на ходу — не Игорю, а женщине за моей спиной, и мне, и раненому, всем сразу, как говорят люди, привыкшие договариваться:

— Нин, ты видела. Я не резал. Я даже не подходил, ты же видела, это он полез, я ему говорил — не надо...

— Степан! — Женщина в дверях. Не испуг — в голосе было что-то похуже, обида. — Ты же стоял. У ящиков стоял и смотрел. Ты что творишь-то, а?

Он не ответил. Дошёл до створки, ещё раз глянул мимо меня — не на Игоря; на дверь, в подсобку, туда, — и просунулся в щель, и створка качнулась, и он пропал за ней. Через щель я видел кусок улицы: тротуар, столб, угол дома, — и тень, метнувшуюся вдоль стены за этот угол. Всё. Угол здания съел его, как не было.

До ворот было шагов пятнадцать. Я бы догнал. С этим плечом, в этих туфлях — догнал бы, наверное, ещё до угла. А за спиной остались бы раненый с одной рабочей рукой, женщина в халате и Игорь с ножом, который уже показал, что режет, и которому очень надо было показать это ещё раз.

Я не пошёл. Даже не шевельнулся в ту сторону, — чтобы Игорь не подумал, что у него открылась дверь.

— Пусть, — сказал раненый сзади. Голос всё такой же ровный, только в конце его чуть повело — от боли или от крови. — Не ходи. Этот важнее.

— Кулаков это, — сказала женщина, быстро и зло, будто спорила с кем-то. — Степан Кулаков. Грузчиком он был. Я ж его знаю, я ж думала, вы их сейчас... а он с ножом. Кто ж знал, что с ножом. Виктор Ильич, вы же ранены, у вас же рука!

— Рука на месте, Нина. Назад.

Виктор Ильич, значит. И Нина. И Степан Кулаков, бывший грузчик, который так смотрел на эту подсобку, будто там лежало его собственное.

Игорь стоял за ящиками и смотрел на ворота. Долго смотрел. Потом повернулся к нам, и лицо у него было такое, будто ему дали пощёчину при всех.

— Стёпа, — сказал он тонко. — Стёпа, ты... Ты, сука, Стёпа! Ты меня — вот так?! — И сразу нам, торопясь, захлёбываясь, нож ходил ходуном: — Это он! Это он всё! Это он придумал, я вообще сюда за компанию, я вообще не...

— Игорь, — сказал Виктор Ильич из дверей. — Брось нож. Ушёл твой приятель, всё. Брось, и будем разговаривать.

— Я тебе не Игорь! Я тебе никакой не Игорь! — И вдруг, сорвавшись в другую сторону, с ненавистью и чуть не с гордостью: — Ты чё, думаешь, я один не смогу? Я тебя уже достал, видел? Я тебя ещё достану. Я не Стёпа. Я никуда не бегу!

Он и правда никуда не бежал. Это я отметил отдельно: дорога к воротам у него была свободна, — я стоял у двери, между ним и створкой никого, — а он не уходил. Стоял, дышал ртом, сплёвывал кровь и держал нож, как держат последнее, что ещё можно предъявить. Когда человек в такую минуту не уходит, причин обычно две: либо ему некуда, либо ему важнее, чтобы никто не увидел, как он уходит. Я на него смотрел и думал, что у этого — вторая.

Он двинулся. Не на меня — вбок, по дуге, вдоль ящиков, к дальнему их концу, чтобы обойти меня и выйти к двери с другой стороны. Нож впереди. Взгляд — мимо меня, за плечо, на свет.

— Сомов, — сказал Виктор Ильич. Негромко, только мне. — Он на дверь смотрит. К двери не подпускай.

Сомов.

Я не Сомов. Я Климов, и Климовым был всю жизнь, и на «Сомов» я не обернулся бы даже в толпе. Но сказано было мне — больше некому — и сказано по делу. Я не обернулся. Отметил и убрал — туда же, куда чужую руку, туфли и пустой правый бок. Потом. Всё потом.

Игорь сделал ещё шаг по своей дуге, и тут Виктор Ильич отпустил раненую руку. Я услышал это раньше, чем увидел: скрип ящика по асфальту. Он взял правой верхний ящик из стопки у самой двери — за ребро, как берут чемодан — и швырнул. Не в Игоря — под ноги ему, на дугу, туда, куда тот собирался ступить. Ящик прокатился по асфальту боком, ударился в опрокинутые и лёг ребром. Игорь отскочил, взмахнул ножом впустую, выругался — и остался там, где стоял: у ящиков, дальше от двери, чем хотел.

— Ещё раз пойдёшь — ещё дам, — сказал Виктор Ильич и снова взял левую руку в правую. Кровь у него между пальцев пошла сильнее, я видел, как капли зачастили.

Нина за ним не ушла. Стояла у косяка, чуть сзади, и в кулаке у неё было что-то тяжёлое, чёрное, — гиря от весов, судя по тому, как она её держала.

— Нина, — сказал Виктор Ильич, не оборачиваясь. — За прилавок.

— Я вам не мешаю, — сказала она. — Я тут. Мне тут видно.

Позиция была плохая. Хуже, чем казалась минуту назад. Я стоял почти против проёма. В проёме — Виктор Ильич, правая рука занята; сбоку от него — Нина с гирей, которая никуда не собиралась. Если Игорь пойдёт на дверь и я его пропущу, — а с медленной левой пропустить можно, — он выйдет прямо на них: на одну рабочую руку и на гирю. Если он пойдёт на меня и я приму его здесь, у проёма, — за спиной всё равно будут они, и каждый мой шаг назад будет шагом к ним. А назад в такой драке шагают, даже если решили не шагать.

Ждать было нечего. Помощи я не слышал — ни машины, ни голосов с улицы, — а ждать с ножом в трёх шагах тоже решение, только плохое.

Значит, надо было, чтобы он пошёл на меня. И не здесь.

Я шагнул от двери. Вправо и вперёд, на середину двора, на голый асфальт, туда, куда лампочка над дверью доставала ещё в полную силу, — где меня было видно всего и где за спиной у меня был только пустой двор до самых ворот. Асфальт был чужой, я никогда на нём не стоял, — но ноги стояли на нём хорошо. Левое плечо я повернул к Игорю. Нарочно. Опустил обе руки и дал левой висеть чуть не так, как правой; ей и притворяться не надо было, она и вправду висела не так.

Дверь осталась в стороне. Теперь, чтобы попасть к ней, ему надо было пройти мимо меня, подставив бок. Или — сначала через меня.

Я прикинул, как он пойдёт. Нож он держал низко, у бедра; я ждал удара снизу, в живот. Если угадал, левой не надо будет подниматься выше пояса. Столько она могла. Всё остальное — правая, ноги и то, чего он не умеет.

— Ну, — сказал я. — Ты хотел показать, что можешь. Показывай мне. Не ему, у него рука. Мне.

Он смотрел на меня — на плечо, на опущенные руки, на пустое место вокруг. Я видел, как он это читает: легавый один, легавый на открытом, легавый бережёт левую. Я видел, как ему это нравится. Он даже улыбнулся — разбитым ртом, криво, — и сплюнул ещё раз, себе под ноги.

— Ты сам, — сказал он. — Ты сам, понял? Я не хотел. Ты сам.

И пошёл.

Не побежал — двинулся: три быстрых шажка, пригнувшись, нож низко, у бедра, остриём вверх, — на живот, снизу, под рёбра, так, как режут те, кто уже попал и поверил в себя. Перед самым ударом правое плечо у него ушло вниз, — я это увидел, я знал, что увижу, — вес перешёл на переднюю ногу, и рука пошла.

Я не отступил. Только что сам увёл его сюда от двери — теперь надо было брать.

Левой ногой — в сторону, наружу от его ножа, с линии удара, и корпус следом. Левая рука — та самая, медленная, — навстречу его запястью, предплечьем, снаружи, с той стороны, где лезвие не достаёт. Правая уже шла к его локтю.

Глава 2. Меня зовут Сомов

Левая опоздала.

Ненамного — на ладонь, на ту самую ладонь, которой ей не хватало весь этот вечер. Предплечье должно было встретить его запястье, а встретило кулак: костяшки, рукоять, — и лезвие прошло ниже, по мне. Я почувствовал, как оно дёрнуло куртку у левого бока — рвануло, будто за карман потянули, — и холод вдоль рёбер, и ждал боли. Боли не было. Куртка была; кожа — нет. Полсекунды на это ушло, не больше, и я их не тратил: правая уже была там, где ей полагалось, — на его локте, сверху и снаружи, всей ладонью.

Дальше это были уже не я и не он, а вес. Он вложил в удар всё, что имел: переднюю ногу, плечо, спину, — удар ушёл в пустое, а всё вложенное осталось и продолжало ехать вперёд. Я его не останавливал. Я его отпустил — вниз и мимо себя.левой, какая была, прижал его кулак с ножом к своему же боку, к распоротой куртке, чтобы лезвие смотрело куда угодно, только не в меня; правой надавил на локоть — вниз и вперёд, вдоль его же хода, — и подставил ногу. Правую, голенью под его переднюю голень. Он споткнулся об меня, как о порог.

Он не упал — полетел. Свободной рукой не успел упереться, — и ударился об асфальт сначала коленями, потом грудью, потом лицом, с тем звуком, с каким бросают мешок. Воздух из него вышел весь и сразу. Я шёл за ним вниз и опустил коленом ему между лопаток — правым, всем весом, — и тут же, пока он не вдохнул, вытянул его правую руку в сторону, ножом от него, и придавил к асфальту: правой — локоть, левой — предплечье. Нож всё ещё был в этой кисти. Пальцы, белые, сведённые, не разжались и от падения.

— Пусти... — сказал он в асфальт. Не сказал — выдавил, с кровью, и закашлялся. — Пусти-и...

Он не пустил. И я не пустил. Мы держали друг друга на этом ноже, как два дурака на одной верёвке.

Он вдохнул — я почувствовал коленом, как поднялась спина, — и пошёл драться. Не так, как встают, а как бьётся рыба на досках: всем телом, без плана. Левая его рука заскребла по асфальту, нашла опору, попробовала приподнять; ноги заработали — пятка ударила меня в бедро сзади, потом ещё раз, выше, в поясницу, зло, с оттяжкой; он повернул голову и попытался достать зубами — до чего? до колена, до штанины, — не достал и завыл. Правая рука под моими руками дёргалась, как отдельное животное: он тянул её к себе, под грудь, — чтобы встать, чтобы ударить. Локоть я держал правой, предплечье, повыше кисти, — левой, и левая была всё та же, что весь вечер: она держала, но только держала, и я это чувствовал: чуть больше — и разожмётся. А нож в его кулаке, прижатом к асфальту, скрёб остриём по камню и смотрел лезвием в мою сторону, в моё левое колено, стоявшее рядом с его рукой, и всякий раз, как он дёргался, лезвие проходило рядом с брючиной.

Это надо было кончать. Двумя руками. Двух у меня не было.

— Виктор Ильич, — сказал я, не поворачиваясь. — Руку.

Он уже шёл. Я услышал его туфли по асфальту — не быстро, тяжело, — и услышал, как он дышит: со всхлипом, сквозь зубы. Он вышел из-за моего плеча слева, в жёлтый свет, — пиджак чёрный от крови по всему левому рукаву, левая рука прижата к животу, — посмотрел на ту руку, которую я ему держал, и понял всё сразу, как понимают люди, у которых в этой работе давно нет лишних движений.

Он поставил ногу. Каблуком — на запястье Игоря, между моей левой и его кулаком, — и перенёс на этот каблук весь свой вес.

Игорь закричал. Не заорал — закричал, тонко, как кричат от настоящей боли, а не от злости; и кулак под каблуком раскрылся сам, как раскрываются пальцы у спящего. Нож лёг на асфальт.

Виктор Ильич, не убирая ноги, наклонился — медленно, потому что наклоняться с такой рукой ему было трудно, — взял нож правой, за рукоять. Я перехватил освобождённую кисть Игоря. Виктор Ильич убрал каблук, отошёл к двери и положил нож на ящик под лампочкой.

— Всё, — сказал он мне. — Он пустой.

Игорь под коленом плакал. Не рыдал — плакал, злыми быстрыми слезами, как плачут от обиды, и говорил в асфальт: про Стёпу, про то, что он не хотел, про то, что легавый сам полез, про руку — «сломали, руку сломали, суки». Что с кистью после каблука, предстояло смотреть врачу. Я держал её теперь одной правой, — можно было и одной, — а левой проверил свой бок. Куртка распорота от кармана до низа, подкладка наружу. Рубашка целая. Кожа целая. Ладонь, на которую опоздала левая, была ровно шириной в мою куртку.

— Нина, — сказал Виктор Ильич, не оборачиваясь. — Шпагат у вас есть? Верёвка, что-нибудь.

— Есть, — сказала Нина от косяка. Она так и стояла с гирей. — Сейчас. Я мигом.

Гиря стукнула о пол — она поставила её у стены, аккуратно, как ставят вещь, которая ещё пригодится, — и Нина ушла в свет.

Нож на ящике был короткий, узкий, с самодельной рукоятью, обмотанной синей изолен-той. Лезвие в крови до половины. Кровь Виктора Ильича; моей на нём не было. Он это тоже посмотрел — долго, как смотрят на вещь, из-за которой чуть не кончилась жизнь, — и отвернулся.

Нина вернулась с мотком шпагата — толстого, серого, каким перевязывают ящики, — и не отдала его мне, а опустилась рядом на колени, прямо на асфальт, в халате, и сама стала мотать ему руки. Плотно, узлом, как перевязывают ящик, — ловко, быстро, зло. Я только держал.

— Вы мне гирю принесли, — сказал я ей. — А я и не увидел.

— Я вам её не приносила, — сказала Нина, не поднимая головы. — Я её для себя держала. Ну-ка, руку ему выше. Вот так. — Она затянула узел и дёрнула, проверяя. — Не убежит.

Я убрал колено. Игорь перекатился на бок, потом сел, спиной к ящикам, и я увидел его лицо целиком. Нос разбит и течёт, лоб ободран до мяса, губа, что лопнула ещё от локтя, распухла вдвое. Правая кисть, стянутая шпагатом с левой, уже наливалась — там, где стоял каблук. Он посмотрел на нас снизу, по очереди — на Виктора Ильича, на Нину, на меня, — и, кажется, в первый раз за вечер увидел, что нас трое, а он один.

— Ты б меня без него не взял, — сказал он мне. Шепеляво, но с достоинством. — Один — не взял бы.

— Не взял бы, — согласился я. — Поэтому нас двое.

Он подумал над этим, шмыгнул кровью и отвернулся.

Виктор Ильич стоял, привалившись к косяку, и с кисти у него по-прежнему капало. Лицо серое. Надо было садиться и надо было звонить, и я сказал:

— Сядьте. Я позвоню. Где телефон?

— В зале, у кассы, — сказала Нина.

— Сиди с ним, — сказал Виктор Ильич. — Дозвониться я и одной рукой могу. А держать — нет.

Это была правда. И была ещё одна, которую я вслух не сказал: куда звонить, я не знал. Ни номера, ни кому там отвечать, ни как это называется здесь. Он пошёл в дверь, мимо Нины, и я слышал, как он там, за прилавком, набирает — диск трещал, длинно, — и как говорит: ровно, коротко, называя адрес, называя себя, — «Кравцов», — и слово «нож», и слово «задержали», и «одного упустили», и потом, уже другим голосом, ниже: «Да. Меня. Рука. Нет, ходит. Сомов цел».

Кравцов. Виктор Ильич Кравцов. Я отложил и это.

— Кравцов, — сказал Игорь у ящиков, тоже слушавший. — Знаю. Все знают.

— Фамилия, — сказал я ему.

— А тебе зачем?

— Чтоб знать, кого везём.

Он посмотрел на меня, соображая, обидно это или нет, и решил, что нет.

— Мазин. Игорь Мазин. — И, помолчав: — Запомни.

— Запомню.

Нина тем временем ушла в свет и вернулась с полотенцем — вафельным, свёрнутым, с не оторванной ещё биркой, — и стояла с ним в проёме, ждала.

Виктор Ильич вернулся, сел на ящик у двери, и Нина без единого слова взяла его левую руку — рукав пиджака ниже локтя был тёмный и мокрый. Кровь не хлестала — сочилась, но сочилась не переставая. Нина сложила полотенце в несколько раз, прижала и стала обматывать, туго, прямо поверх рукава.

— Не дёргайтесь, Виктор Ильич.

— Я не дёргаюсь.

— Вы дёргаетесь. — Она завязала концы. — Это с полки, новое. Я потом спишу.

— Спишите на меня.

— На вас не спишешь, — сказала Нина. — Вы не по этой части.

Он засмеялся — коротко, в нос, и сразу перестал, потому что было больно.

— Машина будет, — сказал он мне. — Руднев уже знает, дежурный ему звонил домой. Велел обоим в приёмное. Обоим, Коля. Не спорь, я тебе плечо видел. — И, уже вставая и снова садясь, потому что вставать было рано: — Сестре твоей дежурный позвонит на автобазу. Чтоб не сидела, не ждала.

Коля.

Ладно. И сестра. И автобаза. Я это тоже положил туда, где уже лежали Сомов, чужие руки и пустой правый бок. Там становилось тесно.

Двор при лампочке был теперь другим двором: ящики раскиданы, на асфальте тёмные пятна и подтёки, нож на ящике, Мазин у стены с руками за спиной, — и открытая створка ворот, в которую ушёл второй. Я смотрел на дверь. На светлый проём за Ниной: низкий потолок, прилавок с весами, полки с чем-то в пачках, дальше — проход, и там, кажется, ещё дверь, а вправо — тёмный коридор. Кулаков смотрел туда дважды. Не на нож, не на своего Игоря, не на нас. Туда.

— Он на дверь смотрел, — сказал я Виктору Ильичу. — Кулаков. Два раза. Не на нас — внутрь. Как на своё.

— Видел, — сказал Виктор Ильич. — И этот к двери рвался, а не к воротам. — Он посмотрел на Нину. — Нина. Что там у вас, за приёмкой?

— Да что там... — Нина оглянулась на проём, будто сама впервые. — Подсобка, приёмка. Весы, полки, товар на расфасовку. Дальше кладовые. Они под замком.

— Под чьим?

— Под заведующей. Под чьим ещё.

Виктор Ильич кивнул, и на этом мы кончили. Не потому, что было ясно, а потому, что не было: во дворе сидел человек с ножевой раной, у стены — человек, который резал, и всё, что там, в кладовых, — если там что-то было, — никуда до утра не денется. Взгляд — не место. Он это знал не хуже меня.

— Ты его красиво взял, — сказал он потом, глядя не на меня, а на Мазина. — Спокойно. Раньше бы ты на него пошёл, как только он нож показал.

— Раньше — это когда?

— Да всегда, Коля. Сколько тебя знаю. — Он усмехнулся, серый, с полотенцем на руке. — Я уж считал, это у тебя не лечится. А ты сегодня встал и подождал, пока он сам пойдёт. Мне от этого сейчас легче, чем от полотенца.

Больше он про это не сказал ни слова, и я был ему благодарен.

Машина пришла, когда Нина уже успела вынести из зала табуретку и посадить на неё Виктора Ильича вместо ящика, а Мазин успел дважды попросить закурить и дважды получить отказ. Я услышал её с улицы — тяжёлый, дребезжащий ход, — потом свет фар в щели ворот, потом хлопнули дверцы, и в створку, отжав её плечом, вошли двое в форме, и водитель за ними. Старший, сержант, коренастый, посмотрел на двор, на кровь, на Мазина, на нас — и сказал Виктору Ильичу:

— Товарищ капитан. Дежурный сказал — вас в больницу, его к нам. Осмотр тут сделают, заведующую подняли, едет.

— Всё верно, — сказал Виктор Ильич. — Нож на ящике. Не трогать, пусть с ним работают. Второго — Кулакова, Степана, бывшего грузчика отсюда, — ищут?

— Ищут. Адрес дежурный по продавщице взял.

Нина при этом «по продавщице» поджала губы, но промолчала.

Мазина подняли под руки. Он шёл сам, только ноги заплетались; в машине его усадили сзади, между сержантом и мной, второй устроился на откидном за нашими спинами, и Мазин всю дорогу молчал, дышал носом, со свистом, и один раз сказал в спину водителю: «Стёпе передайте — сука он», — но водитель ему не ответил. Виктор Ильич сидел впереди, боком, и держал левую руку правой на весу, как держат ребёнка. Нина осталась во дворе — стоять у своей двери и ждать заведующую, и когда мы выезжали, я видел её в зеркале: маленькая, в халате, руки скрещены, — она уже нагнулась поднять ящик.

Улица была тёмная. Дома низкие, в два-три этажа, редкие фонари, ни одной машины навстречу, только автобус — пустой, светящийся, с круглым лбом, — проплыл мимо на перекрёстке, и сзади у него что-то гремело. Я смотрел на него, пока мог, и ничего не думал. Думать было ещё нельзя.

* * *

Приёмный покой был в конце длинного коридора с крашенными до половины стенами — зелёное внизу, белое сверху, — и пахло в нём тем, чем пахнут все приёмные покои на свете: хлоркой, йодом и остывшим ужином. Нас усадили на кушетку под лампой. Кушетка была жёсткая, в клеёнке, с подголовником; на стене напротив висел плакат про столбняк, а над столиком у окна — отрывной календарь и часы, круглые, с чёрным ободом. Я на календарь не смотрел. Ещё не смотрел. Виктор Ильич сидел рядом, держа свою руку в полотенце, и полотенце уже проступило насквозь.

Мазина сержанты увели на осмотр в соседний кабинет; он всё ещё жаловался на кисть. Медсестра — немолодая, в косынке, с толстыми стёклами очков — сказала нам «сейчас доктор» и ушла, и доктор пришёл.

Пришла. Женщина в белом халате, невысокая, худая, с волосами, убранными под шапочку так, что видно было только, что тёмные; лицо усталое, нестарое — под тридцать, — и глаза такие, какие бывают у людей в конце длинной смены: они видят всё сразу и не хотят видеть ничего лишнего. Она посмотрела на нас с порога, обоих, — на его полотенце, на мою распоротую куртку с тёмными пятнами по левому боку, — и пошла ко мне.

— Так, — сказала она. — Куда?

— Никуда. Это куртка.

— Я спрашиваю не куртку. — Она уже взялась за куртку, откинула полу, потом задрала мне рубашку сбоку — быстро, без церемоний, как поднимают крышку, — провела ладонью по

рёбрам, где было холодно от лезвия, и посмотрела на ладонь. Ладонь была чистая. — Хорошо. Тогда сидите и не мешайте.

И повернулась к Виктору Ильичу.

Кровь была его — на моей куртке, на подкладке, на рукаве: я его тащил за воротник, я стоял рядом. Я это знал, а она нет, и она не поверила слову — проверила руками. Мне это понравилось, и я сидел и не мешал.

Полотенце она размотала сама, велела медсестре разрезать рукав пиджака и рубашки, и когда рукав упал, рана открылась вся: длинная, косая, от локтя почти до запястья, по наружной стороне; края разошлись, но не рвано — чисто, как режет острое; внутри тёмное, но мышца лежала на месте, не вспухала, не выворачивалась. Она смотрела на неё недолго.

— Неглубоко, — сказала она. — Повезло. Ещё бы палец — и мы бы с вами сейчас разговаривали по-другому. Зашивать надо. Уколю, будет терпимо. Кто резал — не спрашиваю, мне это не нужно.

— А я вам скажу, Анна Михайловна, — сказал Виктор Ильич. Он уже сидел ровно, и голос у него уже был тот, домашний, каким он, наверное, говорил на кухне. — Я ведь, когда он замахнулся, о чём подумал? Рукав. Мне жена его в субботу подшивала, у меня локти протираются, а она...

— Виктор Ильич. Больно?

— Терпимо.

— Значит, больно. Вы мне про руку, а не про того, кто её резал. Рукав уже всё, не думайте про рукав. — Она обрабатывала рану — тампоном, из миски, коричневым, и он шипел сквозь зубы и всё-таки говорил:

— ...я это к тому, что человек в такую минуту думает совершенно не о том. Вот Сомов — он о том думал. Он с ним, Анна Михайловна, как в кино...

— Сомов подождёт. Помолчите, вам легче будет.

— Мне легче, когда говорю.

— А мне — когда вы молчите. У меня игла.

Он замолчал. Не потому, что послушался, — потому что игла. Я смотрел, как она шьёт: быстро, ровно, не вглядываясь, как шьют не по коже, а по привычке, — и как медсестра подаёт, не дожидаясь, — и думал, что у неё хорошие руки и плохая смена, и что зовут её Анна Михайловна, и что Виктор Ильич уже знает, как её зовут, а я нет; и что это, наверное, первое имя за вечер, которое мне ни на что не нужно. Просто имя. Мне это тоже понравилось.

— Документ есть? — спросила медсестра у меня, не отрываясь от подавания. — Мне в журнал.

Я полез в куртку. Левый наружный карман был распорот вместе с полкой; внутренний, справа, был цел, и в нём лежало что-то плоское и твёрдое. Я вынул. Удостоверение, тёплое от тела. Я открыл его — сначала для себя, потом уже для медсестры.

Фотография. Молодое лицо, серьёзное, с поджатым ртом, каким смотрят в объектив, когда сказано «не улыбаться»; волосы зачёсаны назад; воротник кителя. Я знал это лицо, потому что видел его — не в зеркале ещё, но я видел эти руки, и лицо было от тех же рук. «Сомов Николай Павлович». «Лейтенант милиции». «Инспектор уголовного розыска». И то, чего я никогда не носил в кармане: «МВД СССР».

Я держал это в руках дольше, чем надо, чтобы прочесть. Медсестра ждала.

— Сомов, — сказал я и отдал. — Николай Павлович.

Это я произнёс вслух впервые. Ничего не случилось. Медсестра переписывала, шевеля губами, и часы над столом шли, и Анна Михайловна вязала последний узел.

И тогда я посмотрел на календарь.

Он висел над столиком, прямо над её косынкой, — обычный отрывной, на гвозде, толстый, в начале осени ещё не ободранный и до половины. Верхний лист — «4», «сентября»,

«понедельник», и мелко, под чертой, восход и заход. И год — на картонке, к которой был подклеен блок, красным, крупно, чтобы видно было через всю комнату: 1978.

Я это прочёл, как читают номер дома: раз, другой. Ничего внутри не дёрнулось. Внутри стало очень тихо, как в дворе после того, как хлопнула створка. Тысяча девятьсот семьдесят восьмой. Меня ещё не было. Не Сомова — меня; Климова Андрея; я ещё не родился, и не родился Максим, и не было ничего, из чего я состоял, — города, в котором я жил, машины, которую водил, службы, в которой служил, лестницы, по которой поднимался за секунду до этого косяка. Ничего из этого ещё не было, и всё это было где-то впереди, за много лет, и до него отсюда было не доехать. Я сидел на клеёнке под лампой в тысяча девятьсот семьдесят восьмом году, и у меня в кармане только что лежало удостоверение с чужим именем и с моим лицом.

— Вы на календарь смотрите, — сказала Анна Михайловна, не оборачиваясь, — как будто вам там должны.

— Проверяю, понедельник ли.

— Понедельник.

— Всё сходится.

Она обернулась — коротко, — посмотрела на меня, и в этом взгляде ничего не было, кроме того, что у неё не осталось на меня сил, и это было честно.

— Снимайте, — сказала она. — Куртку, рубашку. Посмотрим, что там у вас за «всё сходится».

Рубашку я снимал через голову, и левая рука опять пошла, как через воду. Плечо в свете лампы было уже видно: снаружи, где пришёлся косяк, темнело пятно, — и когда она положила туда ладонь, я это почувствовал всем боком.

— Ударились обо что?

— Косяк. Плечом.

— Головой?

— Нет.

— Точно нет? Не помните — так и скажите.

— Помню. Голову — нет.

Она всё равно посмотрела: велела следить за пальцем, посветила, подвигала мою голову вправо-влево, — и, кажется, поверила. Потом взялась за плечо всерьёз. Пальцами прошла по ключице, от грудины до конца, надавливая, — не хрустело, не проваливалось; надавила на сам сустав, на костный бугор сверху; взяла руку за локоть и стала водить: вперёд, в сторону, вверх, — до того места, где я сжал зубы, — и за спину.

— Здесь?

— Здесь.

— Так и должно. Ключица целая, сустав на месте. Ушиб. Движение хорошее, но плечо поберегите. Сегодня — холод через полотенце, спать на правом; левой ничего тяжёлого. Если боль усилится или рука станет хуже двигаться — снова на осмотр, не геройствуйте. Вы, я вижу, умеете.

— Умею.

— Вот и терпите. — Она уже писала что-то на листке. — Рубашку можете надеть. Куртку — только если больше не в чем.

— Больше не в чем.

— Тогда надевайте. Она вас сегодня уже один раз спасла, — сказала Анна Михайловна и подвинула мне куртку, и это была первая её фраза за вечер не про дело. Я взял куртку. Я хотел сказать ей что-нибудь такое, что говорят в таких случаях, — и понял, что не знаю, что говорят в таких случаях здесь. Поэтому сказал просто:

— Спасибо.

— Приходите пореже, — сказала она.

— Постараюсь. Гарантий не дам.

— Все так говорят.

И тут дверь открылась, и в неё вошла девушка — быстро, как входят, когда бежали, — в тёмной кофте поверх светлого платья, с сумкой через плечо, невысокая, с таким же поджатым, как на фотографии, ртом, — увидела Виктора Ильича с зашитой рукой, увидела кровь на разрезанном пиджаке, и лицо у неё пошло белыми пятнами.

— Вера, — сказал Виктор Ильич. — Тише. Больница.

— Я вижу, что больница. — Она повернулась ко мне. — Коля. Мне на автобазе сказали — брат в больнице, ножевое. Ножевое, Коля! Я всю дорогу... — Она посмотрела на меня, на синяк на голом плече, на куртку в руках, — и поняла, кажется, что ножевое не у меня, и от этого рассердилась совсем. — А у тебя что? Синяк?

— Синяк, — сказал я.

Вера. Сестра. Та, которой звонили на автобазу, чтобы не ждала. Она стояла передо мной — чужая, злая, с сумкой, бледная, — и я смотрел на неё, и ничего не знал про неё, кроме того, что она бежала. И этого, вообще-то, было много.

— Синяк, — повторила она. — Мне сказали «ножевое», а у него синяк. Виктор Ильич, вы что дежурному сказали?

— Я сказал, что ножевое у меня, — терпеливо сказал Виктор Ильич. — А Сомов цел. Дежурный, видно, передал в другом порядке.

— В другом порядке. — Вера села на край кушетки рядом со мной, не глядя, и сумку не сняла. — Я сменщицу с полдороги вернула. Я думала, тебя... — И не договорила, и махнула рукой, и стала смотреть, как я надеваю рубашку, и когда левая застряла в рукаве — не помогла. Сидела и смотрела. — Сам, — сказала. — Правая у тебя целая.

— Целая.

— Ну и вот.

Анна Михайловна за всем этим наблюдала от столика, дописывая свой листок, и, кажется, ей было на четверть легче, чем минуту назад.

— Вы сестра? — спросила она.

— Сестра.

— Хорошо. Тогда забирайте. Ему я всё сказала, но скажу и вам: холод через полотенце, левой пусть не машет. Станет больнее или рука пойдёт хуже — везите обратно, а его не спрашивайте, он вам скажет, что нормально. Я до восьми.

— Пойдёт, — сказала Вера. — Я прослежу.

— Проследит, — подтвердил я.

— Вижу, — сказала Анна Михайловна, и в первый раз за вечер уголок рта у неё двинулся. Ненадолго. Она уже поворачивалась к Виктору Ильичу — с листком, с тем, что ему нельзя мочить и когда приходить, — и на нас больше не смотрела, и мне, странное дело, захотелось, чтобы посмотрела. Не сегодня. Когда-нибудь.

Виктора Ильича должны были довести — дежурный обещал машину, и он остался ждать в коридоре, на лавке, в разрезанном пиджаке, сложив руки на коленях, как складывают в приёмной у начальства. Мы уходили мимо него.

— Утром зайду за тобой, — сказал он мне. — К Рудневу вместе. Не рано, к девяти. Вера, вы ему холод сделайте, что там у вас — ложки в морозилке, что угодно.

— Сделаю, — сказала Вера. — Вы тоже домой, Виктор Ильич. Жене вашей от меня... ничего, лучше сами.

— Лучше сам, — согласился он. — Пиджак она мне не простит. Рука заживёт, а пиджак — нет.

Мы вышли на крыльцо. Ночь была тёплая, сентябрьская, с тем запахом, который бывает только в начале осени, — палой листвы ещё нет, а сырость уже есть, — и над крыльцом горела лампочка, и над ней, на фасаде, буквами по штукатурке: «Зареченская городская больница». Зареченск. Я не знал такого города. Я стоял в нём.

— Последний ещё не ушёл, — сказала Вера. — Пошли. Быстро, у тебя ноги целые.

Последний оказался автобусом с тем же круглым лбом, что проплыл мимо нас на перекрёстке, — жёлтый, пустой, гремящий, с кассой на стойке у двери, в которую бросают монету и сами отрывают билет. Вера бросила за двоих. Водитель, немолодой, в кепке, обернулся на неё из своей кабины и сказал через плечо, поверх гула:

— Вер, ты чего в такой час? Тебя ж на вечер ставили.

— Ставили, — сказала Вера. — Сняли. Езжай, Пал Семёныч, у тебя график.

— Садитесь, коли сняли, — сказал он. — У меня последний, мне после вас в парк. — И мы поехали.

Она села у окна, я рядом, плечом к проходу, чтобы левое не било о стойку, и всю дорогу она молчала — не обиженно, а как молчат, когда всё уже сказано, а сердиться ещё не перестали. Я тоже молчал. Смотрел в окно. Улицы шли тёмные, низкие, с редкими окнами; потом пошли дома повыше, одинаковые, в пять этажей, с чёрными подъездами, и я ждал, где она встанет. Она встала — и я встал за ней, и вышли мы к такому же дому, как соседние, только с тополем у второго подъезда. Тополь был большой, старый, шумел.

— Ключи есть? — спросила она на лестнице.

Я похлопал по карману. Ключи были — два, на кольцо, в правом кармане брюк, я их чувствовал всю дорогу и не знал, от чего они. Теперь знал.

— Есть.

— Ну так открывай. Третий этаж, ты не забыл? — И, поскольку я уже шёл впереди: — Это я так. Нервы.

Дверь была обита дерматином, тёмным, с гвоздиками по краю; ключ — длинный, с бородкой — вошёл во второй замок как родной. За дверью — тесная прихожая, вешалка с чем-то тёмным и плащ, зеркало, тумбочка, на ней телефона не было, и я это отметил, как отмечают: нет. Слева кухня — я увидел через открытую дверь угол плиты и клеёнку. Прямо — комната, за ней, в глубине, ещё дверь.

— Свет, — сказала Вера сзади. — Ты что, в темноте будешь?

Выключатель был там, где я и подумал, — у косяка, справа, круглый, с рычажком. Свет зажёгся, жёлтый, лампочка под матовым абажуром. Комната большая — не по-настоящему большая, а по-квартирному: тахта у стены, застеленная, стол у окна, книжная полка, приёмник на ней, — и вдоль всей левой стены, до самого потолка, шкаф. Трёхстворчатый, полированный, тёмный, с антресолю; на антресоли — чемодан, лыжи, свёрнутый ковёр; на дверце, на плечиках, — китель. Тот самый, с фотографии, с погонами. Дальняя дверь была приоткрыта, и там, в маленькой комнате, я увидел край дивана, стол с лампой и стул, на котором лежали вещи: кофты, юбка, что-то ещё, — не брошенные, а сложенные, стопкой, так, как складывают на стул, когда некуда больше.

— Иди на кухню, — сказала Вера. — Я чайник. И холод тебе. Ложки в морозилке, Виктор Ильич правильно сказал, — только у нас там одна ложка, я её к синяку не дам, ты ей потом суп есть будешь. Полотенце намочу.

— Я сам.

— Ты правой сам, а левой — я. Сядь.

Я сел. Кухня была маленькая, с окном во двор, где шумел тополь; на плите чайник, на столе клеёнка в клетку, хлебница, сахарница с крышкой, в углу холодильник — белый, пузатый, гудел. Вера зажгла газ спичкой, поставила чайник, намочила под краном полотенце и,

отжав, приложила мне к плечу — прямо через рубашку, без спроса, холодной ладонью сверху, чтобы держалось.

— Держи сам, — сказала. — Правой. Я тебе не сиделка.

— Я и не просил.

— Ты не просил. Я сама. — Она села напротив, положила руки на клеёнку и посмотрела на меня в упор, — так, будто искала, куда ударить, и не находила. — Мне сказали «ножевое». Ты понимаешь, что я ехала и думала? Я думала: вот, всё, и как я маме скажу. Я в автобусе сидела и слова подбирала. А у тебя синяк, и ты сидишь и улыбаешься.

— Я не улыбаюсь.

— Ты сейчас улыбаешься.

Я, кажется, действительно улыбался. Не потому, что смешно, — потому что она сидела напротив и подбирала слова для матери, и потому что на стуле в её комнате лежала стопка кофт, и потому что это был дом. Не мой. Но дом, и в нём кто-то бежал через полгорода из-за слова «ножевое». Я вечер простоял на чужом асфальте — и вот на этом асфальте, оказывается, тоже кого-то ждали.

— Прости, — сказал я. — Дежурный перепутал. Ножевое у Виктора Ильича. Ему зашили, рука будет работать. У меня — плечо об косяк.

— Об косяк. — Она встала, потому что чайник запел, сняла его, налила заварку из маленького чайника — она заваривала, оказывается, крепко, почти чёрно, — и поставила передо мной кружку, и придвинула сахарницу, и уже потянулась за ложкой, чтобы положить мне сахар, — и остановилась на полдороге, и положила ложку рядом с кружкой. — Сам.

Я взял ложку — и отложил. Я не пью с сахаром. Много лет не пью, с тех пор, как перестал курить, — одно с другим; и подумал об этом уже потом, когда она посмотрела на кружку, потом на ложку, потом на меня.

— Ты чего? — спросила она. — У тебя же три ложки. Ты их всегда кладёшь, я тебя за это с детства ругаю.

— Врач запретила.

— Какая врач?

— Анна Михайловна.

— Анна Михайловна, — сказала Вера, — тебе сахар запретила.

— Она много чего запретила.

— Ага, — сказала Вера. И больше ничего не сказала, но, когда она пила свой чай, — с одной ложкой, — она смотрела на меня поверх кружки так, что я понял: это «ага» она ещё когда-нибудь вспомнит.

Потом она рассказывала. Не мне — просто рассказывала, как рассказывают, когда уже нельзя молчать: что на автобазе ей сказали при всех, при водителях и при механике, и механик сказал «садись, довезу», а у него смена, и она не села; что сменщица, Зина, живёт у самого вокзала и «ты понимаешь, Коля, у самого вокзала»; что она даже не спросила, где больница, а спросила, какая, — и я слушал, и пил чёрный чай без сахара, и держал полотенце на плече, и ни разу не спросил, кто такая Зина. Не потому, что играл. Потому что не надо было: Зина жила у вокзала, и этого было достаточно.

— Ладно, — сказала она наконец и встала. — Спать. Тебе к девяти. Полотенце сюда, я перемочу. — И уже от двери, спиной: — Я не спрашивала, чем вы там занимались, ты заметил? Я только спросила, что у тебя. И всё.

— Заметил.

— Ну и вот. Спокойной ночи.

Тахта была мягкая, продавленная посередине, и лежать на правом боку я умел — с этим у меня вопросов не было. Я лёг. За стеной, в маленькой комнате, Вера ходила, шуршала, потом щёлкнул выключатель, и стало тихо; за окном шумел тополь; в кухне гудел холодильник, замол-

кал и снова гудел; в шкафу что-то потрескивало, как трещит старое дерево ночью. Я лежал в чужой постели, в чужой квартире, с чужим именем в кармане куртки, висевшей на стуле, — и это было всё, что у меня было. Оказалось — не так мало.

Сколько ему лет, я не знал. На фотографии он был молод, и руки были молодые, а плечо ныло вполне знакомо — тут возраст ничего не менял. Мне было сорок три. Мне было. Где-то там, за столько лет, что и не выговорить, я входил в дверь — там был человек, и у человека была девочка, и я шёл первым, потому что всегда шёл первым, — и что было за дверью, я не знал. Не помнил. Дальше сразу был косяк.

И Максим. У Максима была своя комната в другом районе, свой телефон, своя жизнь, в которой я был по воскресеньям — он звонил сам, это было его правило, и я его правила не нарушал. Ему было двадцать два. Вере, судя по всему, примерно столько же. Я подумал об этом — и остановился. Не потому, что не мог. Потому что знал эту дорогу: по ней идут ночью до утра и приходят никуда. Я не знал, что с ним. Я не знал, что со мной — там. Я не знал, как отсюда выходят и выходят ли вообще, и никто здесь этого не знал, и спросить было некого. Это надо было положить туда же, куда всё остальное, — и я положил, и это было тяжелее всего, что я туда клал за вечер.

Утром — к Рудневу. Кто такой Руднев, я выясню утром.

Тополь шумел. Я уснул.

* * *

Проснулся я от того, что рука не поднималась.

Вернее — поднималась, но я во сне повернулся на левый бок, и плечо меня разбудило, без церемоний, как будят те, кто имеет право. Было светло. За окном — серое утро, тополь, крыши; в кухне звякало; пахло чем-то жареным. Я сел, подвигал левой: вперёд, в сторону, вверх — и вверх пошла. Медленно, с толчком в конце, но выше головы. Ни новой боли, ни вчерашнего толчка при обычном движении не было. Я не знал, рад я этому или нет.

Синяк за ночь потемнел; больно было, когда я нажимал на самое пятно.

В ванной было зеркало, и я его не избежал. Лицо с фотографии: намного моложе моего, с ещё не севшими скулами, с гладким лбом, с ртом, который сейчас, без команды «не улыбаться», был как рот, обыкновенный. Я на него посмотрел. Он посмотрел на меня. Мы решили, что разберёмся.

Бритва лежала на полочке — безопасная, с винтом, — и лезвие в ней было не первой свежести. Я побрился. Порезался один раз, у самой челюсти, — не от неумения, от лезвия, — и заклеил, как все, кусочком газеты.

— Ты порезался, — сказала Вера, когда я вошёл в кухню. Она была уже одета, не в платье, а в юбку и блузку, волосы собраны; на столе стояла яичница на двоих и чай, и она уже ела. — Лезвия на полке, в коробочке. Я их тебе месяц назад покупала, ты ими ни разу не поменял.

— Поменяю.

— Поменяешь. — Она отодвинула свою тарелку и посмотрела на меня. Не как вчера — вчера она искала, куда ударить. Сегодня она уже знала. — Коля. Я тебе вчера ничего не говорила, потому что — синяк, и вообще. А сейчас скажу, потому что у меня выходной, а у тебя к девяти, и потом тебя опять неделю не поймает. Ты помнишь, что обещал?

— Напомни.

— Шкаф.

— Шкаф, — сказал я и посмотрел в комнату, где он стоял — до потолка, тёмный, с китем на дверце.

— Ты в июле обещал его разобрать и освободить мне полку. В июле, Коля. Потом было «в августе». Потом было «в выходные». Выходные, если ты не заметил, уже прошли. Я не прошу пол-шкафа. Мне нужна одна полка. Моя. Чтобы я туда положила свои вещи и знала, что они там лежат, а не под твоими лыжами и не на стуле. Я на стуле живу. Ты видел мой стул?

— Видел.

— Ну вот. — Она помолчала. — Это не претензия. Это напоминание. Претензия будет в следующий раз.

Я ел яичницу и думал. Не о том, соглашаться или нет, — тут думать было нечего: человек обещал, человек не сделал, человек — теперь — это я, и стул в маленькой комнате я видел своими глазами. Я думал о том, как это было у него. Судя по «в июле, потом в августе, потом в выходные», — он не отказывал. Он обещал. Каждый раз честно, и каждый раз что-то оказывалось важнее, и он, наверное, каждый раз думал, что успеет. Я таких знал. Я сам таким был — не в шкафу, в другом; Максим мог бы рассказать.

— Какую полку? — спросил я.

— Любую! — Она даже руками развела. — Мне всё равно, какую. Верхнюю, среднюю. Чтобы одна — и вся моя.

— Тогда так. — Я отложил вилку. — Сегодня не буду, и не потому, что «потом». Потому что у меня одна рука, а в шкафу — лыжи, чемодан и то, чего я даже не помню, что там лежит. — Это, между прочим, была чистая правда. — Как плечо даст поднять — в тот же день. Не в выходные — в тот же день. И это не «в августе».

— Врач сказала — ничего тяжёлого.

— Полка лёгкая. Её-то я подниму.

— Полка — да, — сказала Вера. — А то, что на ней, — нет.

— Тогда ты снимаешь, я команду.

— Нет уж. — Она встала, собрала тарелки. — Ты обещал — ты и снимай. Я подожду. Я ждать умею, я на автобазе работаю. — И, уже у раковины, не оборачиваясь, другим голосом: — Я запомнила, Коля. Я всё запоминаю, ты знаешь.

— Знаю, — сказал я. — Сделаю.

Она кивнула в раковину. Больше мы к этому не возвращались. Она мыла посуду, я допивал чай — без сахара, и она на это уже ничего не сказала, только ложку убрала со стола, — и я поймал себя на том, что мне нравится этот дом. Стул с кофтами, тополь, ложка в морозилке, «претензия будет в следующий раз». Я не знал, чей это дом — его или уже мой. Но полку я ей освобожу. Это было первое, что я здесь пообещал сам.

В дверь позвонили в девять без пяти.

Виктор Ильич стоял на площадке в другом пиджаке — сером, старом, явно из тех, что держат «на дачу», — с левой рукой на косынке через шею, и был не такой серый, как вчера, но и не розовый.

— Живой, — сказал он, оглядев меня. — Куртка та же?

— Другой нет.

— Ну и ладно. У нас с тобой сегодня вид, как у двух погорельцев. Пошли. — И на лестнице, спускаясь боком, чтобы не задеть рукой перила: — Надя пиджак не простила. Руку — простила, а пиджак нет. Сказала: «Ты бы ещё в свадебном пошёл». Я, между прочим, не в свадебном был, я в том, который она сама на прошлый праздник... — И махнул здоровой рукой. — Не важно.

Мы шли пешком. Он — потому что близко; я — потому что не знал, куда идти, и шёл рядом, чуть позади, как ходят с тем, кто знает дорогу. Улицы при свете были такие же, как ночью, только с людьми: двухэтажные дома, вывески буквами по железу, женщина с бидоном, мальчишки с портфелями, грузовик с открытым бортом, из которого пахло хлебом. Я смотрел

на всё это, как смотрят на город, в котором предстоит работать: где что, откуда куда видно, где сворачивают. И ни разу не сказал вслух ничего из того, что думал.

Отдел был двухэтажный, с дежурной частью сразу за дверью — окошко, барьер, сержант за барьером, — и с лестницей, стёртой посередине. Меня здесь знали. Сержант кивнул — «Николай Палыч», — кто-то на лестнице сказал «Коль, слышал, ну ты дал», и я ответил «нормально» — на всё это можно было отвечать «нормально», это я понял быстро. Виктор Ильич шёл впереди и вёл, не оборачиваясь, и это было единственное, что мне сейчас требовалось от напарника.

Руднев сидел за столом у окна, в форменной рубашке без кителя, майор — по погонам на спинке стула, где висел китель. Лет под пятьдесят, сухой, седоватый, стриженный коротко, с лицом, на котором ничего не было написано, потому что писать он на нём, видимо, давно разучился. На столе — телефон, папка, чернильный прибор; на стене — тот, кому положено быть на стене в таком кабинете. Он посмотрел на нас, как смотрят на двух людей, которых уже видел в рапорте.

— Садитесь. Кравцов, рука?

— Зашили. Работает.

— Сомов, плечо?

— Ушиб. Выше головы поднимается.

— Уже проверяли?

— С утра.

— Хорошо. — Он помолчал ровно столько, чтобы стало ясно, что здоровье кончилось и началось дело. — Мазин у нас с вечера, оформлен, сидит. Кулаков по адресу не ночевал, участковый был в полночь и в шесть. Соседи говорят — не видели с воскресенья. Дежурный передал по городу, вокзал и автостанция предупреждены. Это то, что сделано без вас. Теперь то, что без вас не сделается. — Он посмотрел на меня. — Кравцов вас хвалил. Сказал: «Не полез». Я его давно знаю, Сомов. Он это слово в похвале употребил впервые.

— Я тоже к этому не сразу пришёл, — сказал я.

Что-то в лице у Руднева двинулось — не улыбка, сдвиг на одну черту, — и вернулось на место.

— Дальше будет проще, — сказал он. — Или сложнее. Посмотрим. Лидия Андреевна.

Она вошла, видимо, ждала за дверью или шла по коридору — в форме, капитан, с папкой под мышкой, тридцати с небольшим, с волосами, убранными так, чтобы не мешали, и с лицом человека, который сегодня уже успел с кем-то поговорить и остался этим разговором недоволен. Она кивнула Виктору Ильичу — «Виктор Ильич», — и мне — «Сомов», — и села, не спрашивая куда.

— Белова ведёт дело, — сказал Руднев. — Всё, что по магазину, — её. Всё, что по Кулакову, — ваше с Кравцовым. Мазин — её, вы с ним говорите только о Кулакове и только через неё. Лидия Андреевна, что он говорит?

— Много, — сказала Белова. — Ночью — дежурному, утром — мне. Говорит, что нож принёс «попугать, если что». Это его слово, «попугать». Говорит, что Кулаков позвал его «зайти в магазин, забрать своё». «Своё» — тоже, если верить Мазину, слово Кулакова. Что именно «своё», Мазин не знает или не говорит; я думаю — не знает, ему это было неинтересно, ему было интересно, что позовут. Кулаков сказал: продавщица его знает, пустит, дело на пять минут. Продавщица не пустила. Пока он её уговаривал, она позвонила. Дальше вы знаете лучше меня.

— Она позвонила при них? — спросил я.

— Она говорит — ушла в зал «за ключами» и позвонила оттуда. Они ждали во дворе. Кулаков ждал — он был уверен, что уговорит. — Белова посмотрела на меня. — Это её слова: «был уверен». Не моя оценка.

— Он два раза смотрел в дверь, — сказал я. — Не на дверь — в дверь, в проём, туда, в подсобку. Пока Мазин с ножом ходил, он смотрел не на нож. И когда уходил — ещё раз. Как смотрят на своё, оставленное не там.

— В дверь или на дверь?

— В дверь.

— Это разные вещи, — сказала Белова, — и я вас за это спрашиваю не из вредности. Взгляд — ваше наблюдение. Что там у него «своё» — ваша версия. Я вашу версию в дело не положу, пока не увижу, что там. Ночью двор, дверь, приёмку и зал осмотрели. Заведующая заявила, что кладовые под её замками, ключи у неё, недостачи не видит. Открывать ночью не стали.

— Не с чего было, — сказал Виктор Ильич.

— Не с чего было, — согласилась она, не глядя на него.

— А с чего будет? — спросил я.

— С основания. — Она закрыла папку. — Если появится — я осмотр назначу в тот же день. Взгляд к делу не подошьёшь, Сомов. Я бы и рада.

— Я тоже видел, — сказал Виктор Ильич.

— Значит, взгляд видели двое. — Белова наконец повернулась к нему. — А в кладовой не был никто. Виктор Ильич, я не спору, что вы видели. Я спору, что этого достаточно.

Он наклонил голову — не соглашаясь, а принимая, — и я подумал, что эти двое спорят не первый год и что мне в этом споре пока делать нечего.

— Версию я понял, — сказал Руднев. — Сейчас вы куда?

— В магазин, — сказал я. — При свете. Поговорить с продавщицей ещё раз — вчера она говорила при ноже.

— Идите. Если будет, за что взяться, — сюда, дам людей. Если не будет — тоже сюда, будем думать, куда он делся. — Он уже взял трубку, но не поднял. — И, Сомов. Куртку смените. У вас вид, как будто вас уже допросили.

* * *

Магазин при свете оказался угловым, с длинной вывеской по железу, с двумя витринами, в одной — кастрюли и утюг, в другой — приёмник на подставке, гитара и глобус; внутри — три отдела, прилавки, запах олифы и мыла; в дальнем, хозяйственном, — весы с гирями, и за ними Нина. В халате, с волосами под косынкой, отпускала мужику гвозди — на вес, в кулёк, — и, увидев нас, не бросила гвозди, а довесила, приняла деньги и выбила чек. Потом только подняла глаза.

— Пришли, — сказала. — Я двор с утра мыла. Ящики починять некому: грузчика-то нет, а второго не дали. Заведующая с шести на ногах. Как рука, Виктор Ильич?

— Работает. — Он показал косынку. — Вы как?

— Работаю, — сказала Нина. — А что мне.

Это было сказано так, что сесть и пожаловаться она бы не согласилась, даже если бы кто-нибудь и предложил. Виктор Ильич и не предложил. Он облокотился здоровой рукой на прилавок, как облокачиваются покупатели, и стал говорить — не о деле, о булочной.

— У меня, Нина, была на Речной булочная. Давно, вы ещё, наверное, в школу ходили. И была там тётка на кассе — хорошая тётка, все её знали. И грузчик у них муку выносил. Понемногу, мешок в неделю. Она видела. И молчала — не потому, что в доле, а потому что боялась: скажу — спросят, откуда знала, почему раньше не сказала, а не сказала — так, может,

обойдётся. Полгода молчала. А когда его взяли, ей и сказали: знала. Потому что молчала. Вот я к чему...

— Вы к чему? — спросила Нина. — Что я вам сейчас чего-то не говорю?

— Я к тому, что если есть что — лучше сейчас.

— Виктор Ильич. — Она положила обе руки на прилавок. — Я вам вчера всё сказала при ноже. Я вам сказки не буду слушать про тётку с Речной, я не девочка. Я вам про замок хочу сказать, а вы меня булочной перебили.

Виктор Ильич выпрямился. Я тоже.

— Про какой замок?

— Вы вчера спросили: под чьим. Я сказала: под заведующей. А ночью лежу и думаю: под чьим. У нас три кладовые. Две — при складе, там всё, там заведующая каждый день. А третья — дальняя, в конце коридора, за приёмкой, — туда никто не ходит, там сыро, там хлам. И замок на ней — Стёпин. — Она сказала «Стёпин», и ей это, видно, не понравилось, и она поправила: — Кулаков повесил. В августе. Я сама видела: пришёл с замком, новым, с пробоем, и повесил, и сказал — заведующая велела, сырость, чтоб не лазили. Я и не лазила. Чего мне там. А сегодня утром я у заведующей спросила: вы велели? Она говорит: какой замок? Она про него не знала. Она думала — это старый, наш. — Нина посмотрела на нас по очереди. — Я вам это сама говорю. Вы запишите, что сама. А то потом скажут: Лосева знала, Лосева молчала. Я не молчала. Я вчера при ноже стояла с гирей, вы видели.

— Видел, — сказал Виктор Ильич. — Запишу, что сама.

— Его когда уволили? — спросил я.

— В конце августа. За прогулы — заведующая ему давно грозила, он и не приходил по три дня. А замок — раньше. Недели за две. — Она подумала. — Он тогда как раз при приёмке был, партия пришла, культтовары, — их через наш двор возят, у зала подъезда нет.

— Какая партия?

— Не знаю я. Не мой отдел. Коробки. Я гвоздями торгую.

Коридор за приёмкой был тёмный, узкий, с лампочкой, которая не горела, и кончался дверью — низкой, дощатой, крашеной в тот же зелёный, что стены в больнице. На двери — пробой, новый, с блестящими шляпками шурупов на старой краске, и в пробое — замок. Амбарный, тяжёлый, чёрный, тоже новый: на дужке ещё не было ржавчины. Я на него посмотрел и не тронул. Виктор Ильич — тоже.

— Не мы, — сказал он. — Белова. С понятыми, с заведующей, при свете. Иначе всё, что там, будет «нашли Сомов с Кравцовым, а кто туда положил — неизвестно».

— Знаю.

— Знаю, что знаешь. Я это себе сказал. — Он посмотрел на замок ещё раз. — С августа висит. Ночь простоит.

— Он вернулся сюда за «своим», — сказал я. — Если там что-то лежит, он это знает, и он знает, что мы теперь тоже знаем — или узнаем. Ночью двор пустой, Нина уйдёт домой.

— Руднев даст человека во двор, — сказал Виктор Ильич. — Я позвоню.

Он позвонил — от кассы, из зала, при покупателях, одной рукой, — сначала Рудневу, потом Беловой, и с Беловой говорил дольше. Я стоял рядом и слышал её голос из трубки — не слова, ритм: короткие, ровные фразы. Виктор Ильич повесил трубку и сказал:

— Завтра в девять. У неё сегодня два допроса и очная ставка, и она не будет их переносить из-за замка, который висит с августа. Её слова. Человек во двор — с восьми вечера. Тоже её слова: «Так и передайте Сомову, чтобы не ходил проверять сам».

— Я бы не пошёл.

— Она этого не знает, — сказал Виктор Ильич. — Она тебя знает другого.

* * *

Вечером Вера была дома — у неё был выходной, и она провела его так, как проводят выходной, когда накануне пришлось бежать к брату в больницу: перемыла всё, что моется, и выстирала то, что не мылось. Куртка моя висела на балконе, зашитая по боку крупным, злым стежком, — «носи, пока новую не выдадут, а лучше сам купи». Мы ели, и она рассказывала про автобазу — не про вчерашнее, а про то, что у неё там вообще: что механик, тот самый, который «садись, довезу», второй месяц обещает ей починить стул в диспетчерской, и стул качается, и она подкладывает под ножку график; что водители называют её «Вера Пална», а одному, молодому, она за это уже дала выговор, устно, и он теперь называет её «Вера Пална» ещё старательнее. Я слушал. Я, кажется, никогда в жизни так не слушал про чужой стул.

— Ты чего? — спросила она. — Ты слушаешь так, будто я тебе про Кулакова рассказываю.

— Про стул интереснее.

— Про стул, — сказала Вера, — интереснее всем, кроме механика.

Ложку она со стола так и не вернула.

* * *

Наутро, в девять, Белова пришла с двумя понятиями — дворником из дома напротив и женщиной из соседнего дома, обоим было велено смотреть и не трогать, — и с заведующей, полной женщиной с кольцом ключей на пальце, которая всю дорогу по коридору говорила «я не знала, я не знала» и, кажется, сама уже не понимала, кому. Виктор Ильич стоял у двери. Я стоял с ломиком — плоским, кованым, из хозяйственного отдела, Нина выдала под роспись, — и когда Белова сказала «снимайте», я подвёл его под пробой и налёт. Правой. Левая держала ломик за конец и больше ничего не делала; плечо всё равно сказало своё, но негромко. Шурупы были новые, а доска старая: пробой вышел из неё с сухим треском, с двумя щепками, и замок повис на нём, не открытый, целый. Белова забрала оба — пробой и замок — в бумагу. Дверь открылась внутрь, в темноту, и из темноты дохнуло сыростью, известью и картоном.

Виктор Ильич посветил фонарём.

Кладовая была шага три на четыре, с земляным, кажется, полом под досками, с полками вдоль стен — на полках ведра, рулон толя, пачки чего-то слежавшегося. А в дальнем углу, от пола до плеча, ровно, как складывают люди, привыкшие складывать, — коробки. Картонные, одинаковые, с синим штампом на торце. Я подошёл. «ВЭФ-202». Приёмник. Я знал эту марку — не отсюда, из другой жизни: такие доживали век у стариков на дачах, со стрелкой, которая ходит по стеклу, и с городами на стекле. Здесь это был товар. Новый.

— Заведующая, — сказала Белова. — Это ваш товар?

— Наш... — Заведующая смотрела на коробки, и лицо у неё делалось тем, что бывает у людей, когда они понимают, что дальше будет долго. — Наш. Партия. В августе пришла. Он их разгружал. Я думала, они на складе. Они должны быть на складе...

— Должны, — сказала Белова. — Почему они здесь, а не на складе, и почему вы за месяц этого не заметили — это у нас с вами будет отдельный разговор. Не сейчас. — И взяла первую коробку сверху.

Она была тяжёлая — приёмник внутри, в промасленной бумаге, с паспортом под крышкой. Вторая — тоже. Третья, из-за первых, из середины стопки, — пошла в руках вверх, как

пустая. Она и была пустая. Белова открыла: внутри — картонная вставка, смятая бумага и тонкая книжечка, паспорт, с заводским штампом и номером, вписанным от руки. Аппарата не было. Четвёртая — пустая. Пятая, шестая — я перестал следить. Белова снимала их одну за другой, ставила на пол в два ряда — полные к полным, пустые к пустым, — и пустой ряд рос быстрее. Она их пересчитала — это была её работа, не моя, — и записала, и понятия смотрели, как им было велено, а заведующая говорила «я не знала» уже совсем тихо, себе.

Я стоял и смотрел на два ряда. И то, что вчера было взглядом, а позавчера — «своим» из чужого пересказа, становилось у меня на глазах тем, чем было с самого начала.

— Это не налёт, — сказал я. — Позавчера — не налёт. Это — последний рейс.

Белова подняла голову.

— Смотрите, — сказал я. — Замок повешен в августе, при приёмке, до увольнения. Партию везли через двор, он разгружал. Часть коробок ушла не на склад, а сюда, куда никто не ходит, и на неё он повесил свой замок и сказал всем, что так велено. Никто не проверил: сыро, хлам. Дальше, пока он работал и ходил через этот двор каждый день, он выносил. Не коробками — аппаратами: коробку вскрыл, приёмник вынул, коробку поставил обратно, чтобы стопка стояла, как стояла. Паспорт ему не нужен, на толкучке паспорт не спрашивают. Вынес не всё. Потом его уволили: ключ от двора у него кончился, а ключ от замка остался. То, что здесь, он считал своим. Позвал Мазина, пришёл вечером, когда Нина одна, — на пять минут, забрать остальное. Нина не пустила. Мазин достал нож. — Я посмотрел на пустой ряд. — Вот эти уже не здесь. И это не один человек за пазухой. Это машина.

Тишина в кладовой стояла ровно столько, сколько нужно, чтобы каждый проверил это на себе.

— Это версия, — сказала Белова.

— Это версия.

— Кто вскрывал, кто выносил, когда и на чём — вы не видели. Замок повесил он, это показание продавщицы. Партию разгружал он — показание заведующей. Пустые коробки здесь — факт. Всё остальное между этими тремя точками — ваше. — Она замолчала и посмотрела на пустую коробку у себя в руках, на паспорт, на номер, вписанный синими чернилами. — Но номера — да. Номера я беру. У каждого аппарата свой, заводской, в паспорте и на шасси. Пустых коробок — столько же, сколько паспортов. Если они где-нибудь всплывут — в комиссии, в мастерской, в скупке, у кого-нибудь на столе, — их можно узнать. Это не версия. Это то, с чем можно ходить.

— Я и пойду, — сказал Виктор Ильич от двери. — Не с номерами — с грузчиком. Где жил, с кем пил, у кого из его дружков машина или гараж. Приёмники — не мука, их в подвале не держат: нужно сухое, закрытое, своё. Я в этом районе давно, Лидия Андреевна; его самого не знал, но кого-нибудь из тех, с кем он пил, — знаю точно.

— Идите, — сказала Белова. — Остаток и коробки я изымаю, до вывоза — под постом, ключ у меня. — И, уже мне: — Сомов. Если найдёте машину — я хочу знать, кто её видел. Видел машину — или человека за рулём. Это, повторяю, разные вещи.

— Запомнил, — сказал я.

Она кивнула — коротко, как кивают тому, кому поверили ровно на столько, на сколько пока можно, — и вернулась к своим рядам.

Я вышел во двор. Он был при свете обыкновенный: ящики Нина составила заново, асфальт вымыт, тёмное пятно у стены всё-таки осталось — кровь с асфальта не смывается за один раз, это все знают, кто мыл. Ворота были закрыты. За воротами шла улица, за улицей — город, в котором я третий день и который знал ровно настолько, чтобы дойти от дома до отдела. Где-то в этом городе стояли — в гараже, в сарае, в чьей-то комнате под кроватью — приёмники с номерами из тех паспортов. И где-то в нём был человек, который вернулся сюда

за своим, потому что ему было очень нужно. Такие не уезжают, не забрав. Такие приходят ещё раз — не сюда, так туда, где лежит остальное.

Надо было только понять — куда. И успеть туда раньше него.

Глава 3. Человек у гаражей

Два дня Виктор Ильич ходил, и я ходил за ним.

Не искал — ходил. Разницу я понял к вечеру четверга, когда мы в четвёртый раз за день пили чай, которого не хотели. Он ни у кого не спрашивал про Кулакова. Он приходил к человеку, у которого было своё — пивной ларёк у бани, сапожная будка на углу, окно вахтёрши в общежитии, где Кулаков жил до магазина, — и говорил про это своё. Что пиво нынче с водой. Что подмётки он бы и сам себе поменял, да рука. Что в общежитии опять не топят — и вахтёрша смеялась, потому что сентябрь. И где-то между подмётками и сентябрём Виктор Ильич говорил: «А Стёпа-то к вам заходит ещё?» — так, как спрашивают про общего знакомого, не про беглого. И человек говорил: не заходит. С воскресенья не заходит. А до того — заходил, и пил, и должен остался, и вообще, Виктор Ильич, если увидите, передайте...

Я стоял или сидел рядом и молчал. Так мы договорились ещё в четверг утром, на лестнице отдела: он знает, с кем говорить, я знаю, с какой стороны приходят неприятности. Он говорил. Я смотрел на дверь.

За два дня я узнал город так, как узнают, когда ходишь за тем, кто знает дорогу: не по названиям — по поворотам. Где за булочной сквозной двор, где кончается асфальт и начинается завод — кирпичная стена, потом забор из бетонных плит, потом трубы над ним и дым. Реку я увидел один раз, с горки, — серую, широкую, с мостом, — и Виктор Ильич сказал: «За реку нам не надо. Он не заречный».

Плечо к пятнице ходило. На повторном осмотре врач проверил движение и силу руки: ушиб оставался чувствительным под пальцами, но работе уже не мешал. Вера каждое утро смотрела из кухни, как я одеваюсь, словно принимала работу, и ничего не говорила. Пока.

В пятницу к обеду у нас было две вещи.

Первую дала Белова — в коридоре, на ходу, с папкой под мышкой, между двумя своими вопросами: на Мазина записан «Москвич», старый, четыреста седьмой, серый; стоит у него во дворе под брезентом, она его смотрела — пустой. Вторую дал сварщик из литейки, Саня, с которым Кулаков пил у бани и который двадцать минут рассказывал Виктору Ильичу про свою «Яву», а потом, уже уходя, уже спиной, сказал: «А Стёпа? У Стёпы гараж есть. На полосе, за заводскими, где труба идёт. Машины нет, а гараж есть. Он туда мужиков водил, когда дома нельзя. Сыро там».

Сыро. Приёмники в сырости не держат. Но люди держат в сырости что угодно, если это своё и если больше нигде.

— Пошли посмотреть, — сказал он. — Смотреть, Коля. Не трогать.

— Я знаю.

— Знаю, что знаешь. Я себе.

Это у нас с ним уже стало присказкой, и мне это нравилось.

Полоса начиналась там, где кончались заводские кварталы: пятиэтажки, потом двухэтажные, бревенчатые, потом пустырь с одной дорогой через него, и за пустырём — вдоль бетонного заводского забора — гаражи. Два ряда, лицом друг к другу, а между ними проезд — узкий, разбитый, в колеях, с лужей посередине, которая, судя по цвету, не высыхала никогда. Боксы кирпичные, боксы из ржавого железа, боксы из того и другого; ворота крашены в бурый, в зелёный, в никакой. Ряд, что справа, стоял спиной к заводскому забору; ряд слева — спиной к пустырю. Полоса шла вдоль забора и вместе с ним, далеко впереди, поворачивала — куда, отсюда было не видно.

И — люди. Пятница, шестой час; ворота открыты через одни, из ворот торчат ноги и спины; на табуретках сидят и курят; из чьего-то приёмника — футбол; пахнет бензином, горе-

лым маслом и откуда-то жареным луком. Полоса жила своей жизнью, и жизнь эта была мужская, вечерняя, с закрытыми от улицы воротами.

Мы остановились у въезда — ворот там не было, два столба и остатки шлагбаума, — и я посмотрел вдоль проезда. Он был прямой, как коридор. Одна линия глаз до самого поворота.

— Если он здесь, — сказал я, — он нас увидит раньше, чем мы его. Тут всё на просвет. Двое чужих у въезда — это видно с любого табурета.

— Видно, — согласился Виктор Ильич.

— И если он рванёт — я пойду, а вы нет.

— А я и не собираюсь. Мне бегать не велено. — Он поднял левую; косынку он снял ещё в четверг, но руку носил так, будто косынка осталась, — согнутой, у груди, в рукаве, под которым угадывалась повязка. — Ты вот что пойми. Тут у каждого своё за железом, и не у всех это машина. У кого ворованный бензин, у кого — про что жена не знает, у кого просто он сам, чтоб никто не видел. Мы придём и спросим про Стёпу — половина ворот закроется, а вторая половина скажет «не знаю», и это будет правда, потому что они захотят не знать. Дай мне. Я не буду спрашивать про Стёпу.

— А про что?

— Про машины. Тут больше ни про что не спрашивают. — Он посмотрел на меня. — А ты стой. Так, чтоб я тебя видел, а они — не очень. Не рядом со мной, чуть в стороне. Смотри на проезд. Если кто пойдёт быстро — не окликай, просто иди за ним. Если побежит — тогда твоё.

— А если он сидит вон там за воротами и слушает?

— Тогда ты его увидишь раньше меня. На то ты и стоишь. — Он помолчал. — И вот ещё что. Не спрашивай никого ни о чём. Ты с людьми говоришь, как будто у тебя время кончается.

— Я про машины могу.

— Вот и не надо, — сказал Виктор Ильич. — Стой.

Это было честно: он знал людей, я знал, как сюда приходят с ножом. Я отступил на два шага и стал смотреть на проезд.

Он пошёл. Не к первым воротам — к третьим, где у открытого бокса на домкрате стоял «Запорожец» без переднего колеса, и трое мужиков смотрели на него так, как смотрят на больного, которому уже всё сказали. Виктор Ильич подошёл, тоже посмотрел на «Запорожец» — и ничего не сказал, и это было правильно, потому что один из троих, в кепке набекрень, обернулся: «Виктор Ильич! Ты чего у нас?» — и Виктор Ильич сказал: «Гуляю. Мне врач гулять велела», — и показал руку, и дальше я слышал уже не всё: про руку («ножом, на работе», — и пауза, и «оно тебе надо, Ильич»), про «Запорожец» («ты в него зимой лил, что было»), — и там же ему объяснили, что по правой стороне, на полдороге к повороту, есть Кузьмич, и что Кузьмич тут всегда, потому что у Кузьмича «Москвич», который он собирает третий год и никогда не соберёт, — «а он и не хочет, ему собирать нравится». Кулакова никто не назвал. Виктор Ильич и не спросил.

Кузьмич оказался посередине правой стороны — той, что спиной к заводскому забору. Ворота у него были открыты обе, и в глубине стоял «Москвич» — маленький, круглый, довоенного фасона, без колёс, на чурбаках, с открытым капотом и с такой чистотой вокруг, какая бывает не в гаражах, а в операционных. Сам Кузьмич сидел на табуретке перед мотором, в берете, в очках на верёвочке, и делал напильником что-то мелкое и долгое. Лет шестьдесят пять. Пенсионер, судя по тому, что делал это в пятницу в шесть; а по лицу — что делал это и в понедельник в одиннадцать.

Виктор Ильич остановился у ворот и посмотрел на мотор. Потом на напильник. Потом сказал:

— Клапана?

— Седло, — сказал Кузьмич, не оборачиваясь. — Клапана я в прошлом году.

— А седло чем?

— Вот этим. — Он показал напильник. — Мне говорят: возьми у людей приспособление. А я говорю: у меня есть время. У людей нет времени, а у меня есть.

Я понял, что в ближайшие десять минут про Кулакова здесь не скажут ни слова. Так и вышло. Они говорили про седло, про напильники, про масло, — и Кузьмич говорил всё длиннее, а Виктор Ильич всё короче, и напильник ходил всё медленнее, пока не лёг на тряпку, — и тогда Виктор Ильич сказал, глядя не на него, а на соседние ворота, бурые, закрытые, с амбарным замком на пробое:

— А сосед ваш — давно не заходил?

Напильник лежал. Кузьмич снял очки, и без очков лицо у него стало другое: голое, немолодое, с тем выражением, с каким слышат вопрос, которого ждали и на который заранее решили не отвечать.

— Я, Виктор Ильич, за соседей не отвечаю, — сказал он. — Я за свой бокс отвечаю.

— А я вас за соседей и не спрашиваю. Я спрашиваю, что вы видели. Это ваше, не соседское.

Кузьмич подумал. Долго; я успел два раза посмотреть на проезд.

— Видел, — сказал Кузьмич. — В субботу. Не в эту — в ту. Второго. Я тут каждый день, кроме дождя; в ту субботу дождя не было, я крыло красил, а в дождь не красят. Под вечер. Часов в шесть — я в шесть чай пью, как раз чайник ставил. Машина стояла. Вот тут, где вы стоите. «Москвич». Не такой, — он кивнул на свой, — нормальный, четыреста седьмой, или восьмой, я их сзади не различаю. Серый. Старый. Номер не смотрел — я номера не смотрю, мне зачем. Стёпа был. Он открыл — своим ключом, как всегда открывал. И ещё один с ним.

— Какой?

— Молодой. Худой. Он за рулём сидел, а потом носили — вдвоём. — Кузьмич надел очки обратно, и лицо снова закрылось. — Я его не знаю. Вы мне его покажете — я не скажу, что он. Потому что я не знаю. А скажу — вы так и запишете, а он, может, и не он.

— Что носили?

— Свёртки. В газетах. Тяжёлые — по тому, как несли: не под мышкой, а вот так. — Он показал, как носят на согнутых руках дрова. — Что в свёртках — не видел. Я не подходил. Я это... я чай пил.

Свёртки в газетах, тяжёлые, на согнутых руках, из серого старого «Москвича» — такого, какой записан на Мазина и стоит у него под брезентом, — в сырой гараж без машины, вечером, второго. Я стоял в двух шагах от этого и молчал, как договорились, и молчание стоило мне усилия: у меня был один вопрос, и он был не про машины. Виктор Ильич, не оборачиваясь, задал его сам.

— Второго — это точно?

— Точно. Я в тот день крыло красил, а в понедельник второй слой клал. Значит, в субботу.

— Вот и хорошо. Завтра к вам придёт следователь, Белова, Лидия Андреевна. Женщина. Она спросит то же самое. Вы ей скажете то же самое. Ни больше.

— Ни больше я и не знаю, — сказал Кузьмич. И, помолчав, тише: — Я против Стёпы ничего не имею. Он мне свечи одалживал. Я только про машину.

— Только про машину, — сказал Виктор Ильич.

Мы постояли ещё — у ворот Кузьмича, лицом к проезду, как стоят соседи, — и я смотрел на бурые ворота рядом. Кирпичный бокс, железные створки, ржавый пробой, чёрный замок. Под створками щель — тёмная, в палец. Ни звука, ни света. Если там что-то и лежало, оно лежало тихо.

— А за поворотом что? — спросил я Виктора Ильича негромко.

— Полоса короче, и упирается в ремонтный двор. Мастерские. У них ворота на ту улицу, а забор с этой стороны дырявый, через него полгорода ходит — короче, чем в обход. — Он

помолчал. — Пошли. Он сегодня не придёт: нас тут полполосы видело. А ночью присмотрит Руднев.

Руднев дал машину: с темноты у въезда стоял газик с сержантом. Утром сержант доложил, что за ночь по полосе прошли две собаки и один пьяный, и тот свой, из четвёртого бокса. Белова к тому времени была уже у прокурора.

* * *

Утром в субботу я поднял левую выше головы, и Вера сказала из кухни, не отрываясь от сковородки:

— Выше головы. Я видела. Я не про полку. Я просто говорю, что видела.

— Сегодня обыск.

— Ага, — сказала Вера.

Это было второе «ага» за неделю. Я уже понимал, что они у неё копятся и что в какой-то день их предъявят все разом, как накладную. Полка была легче чайника. Я это помнил.

В дежурке мне выдали пистолет — в кобуре, с запасным магазином, под роспись в журнале. Я повесил кобуру на ремень справа, под куртку, — на то самое пустое место, к которому рука дёрнулась в понедельник и ничего не нашла. Пистолет я знал. Не этот — все такие: рукоять, предохранитель под большим пальцем, тугая пружина магазина; я носил его столько лет в той жизни, что он был единственной вещью здесь, которая не потребовала от меня ни одного вопроса. Виктору Ильичу выдали тоже.

Во дворе отдела стоял уазик. Обыкновенный, брезентовый, цвета всех уазиков на свете, с запаской на задней двери и с антенной, торчащей из-за кабины, как удочка. Мотор у него работал неровно: то ровно, то с перебоем, как человек, который сбивается со счёта. У открытого капота стоял старшина — широкий, лет тридцати пяти, в фуражке, сдвинутой на затылок, — и смотрел в мотор так, как смотрят на родственника, который опять.

— Жук, — сказал ему Виктор Ильич. — Поедем на полосу, за заводские. Как она?

— Как она. Троит, — сказал старшина, не поднимая головы. — На холодную троит. Прогреется — перестанет. Я её с семи грею.

Жук — фамилия или прозвище, я не знал; но по тому, как он сказал «она», я понял главное: машина была его, а мы в ней ехали.

Белова пришла через десять минут — с папкой, в форме, с лицом человека, который с утра успел застать прокурора дома в халате. Это она сказала вслух, в одну фразу, и я не понял, считает ли она халат обстоятельством дела или просто фактом; но постановление с санкцией лежало у неё в папке, и представитель домоуправления был ей обещан к трём прямо на полосу.

— Все сели? — спросил Жук, обернувшись с водительского места, и посмотрел на каждого, как смотрят на детей в автобусе. — Сомов, дверь. Её надо хлопнуть. Не так. Вот так.

Мы поехали.

Полоса в субботу днём была рабочая: никто не сидел на табуретках — все были внутри, под машинами, в моторах; стучало, звенело, у кого-то из ворот бежала вода. Уазик прошёл по проезду, объезжая лужу так, будто Жук знал её лично, и встал против бурых ворот, носом к повороту. Кузьмич сидел у своего мотора и, увидев нас, не встал, а только положил напильник, как кладут, когда знают, что теперь надолго.

Представитель домоуправления ждал у въезда: немолодой, в шляпе, с портфелем, с таким лицом, будто ему сообщили, что суббота отменяется, и не сказали, надолго ли. Фамилия его была Скворцов, и первое, что он сказал Беловой, было: «У меня баня в семь». Белова сказала: «Успеете», — и это прозвучало не как обещание, а как сведение. Понятых она взяла тут же,

с дальнего конца полосы, чтобы не соседи: парня в промасленной куртке, у которого стояла «Ява» с разобранным карбюратором, и пожилого, с газетой, который согласился так, как соглашались на прививку.

Потом она прочла им постановление — не всё, ту часть, где было, чей гараж, что ищем и кто разрешил, — ровным голосом, как читают вслух расписание, и показала замок. Целый, закрытый, на ржавом пробое.

— Геннадий Петрович, — сказала она. — Замок.

Жук вылез из машины, достал из-под заднего сиденья ножовку по металлу и тряпицу, в которой были завернуты полотна. Три. Он показал их всем нам и сказал:

— Я три взял. Потому что знаю. Мне в том году на Кирпичной такой же замок два полотна съел, и никто мне их не списал. Я на свои купил.

— Запишу, — сказала Белова.

— Вы запишете, — сказал Жук. — А спишет завхоз. А завхоз — это не вы.

И стал пилить. Дужка была толстая, и ножовка визжала на ней так, что из соседних боксов начали выглядывать, а Кузьмич надел очки. Первое полотно ушло в дужку до половины. Второе лопнуло с сухим щелчком, и Жук посмотрел на обломок так, будто тот его лично предал. Третьим дужку допилил, отогнул, снял замок и отдал Беловой — в бумагу.

— Два, — сказал он. — Я говорил.

Ворота открылись наружу, обе створки, с ржавым стоном, и внутрь — в темноту — упал дневной свет.

Машины там не было. Гараж без машины — это всегда странное место: слишком большое для того, что в нём есть, как комната, из которой вынесли кровать. Слева вдоль стены — верстак из досок, на нём тиски и хлам; справа — панцирная сетка на кирпичах, а на ней тюфяк и одеяло, серое, солдатское, сбитое к стене, как сбивают, когда встают. На полу у сетки банка, полная окурков. Дальше — стеллаж, покрышки стопкой, велосипедное колесо на гвозде. Посередине, под ногами, — смотровая яма, закрытая досками, а на досках — покрышки и мешок с чем-то мягким. Пахло сыростью, керосином и — тонко, старо — табаком.

Жук нашёл выключатель у косяка — и лампочка под потолком зажглась, жёлтая, слабая.

— Кто-то тут лежал, — сказал я, глядя на одеяло. — И не в прошлом году. Окурки сверху сухие.

— Тут полполосы так, — сказал Виктор Ильич. — От жён.

— Записываю: спальное место, — сказала Белова. — Кто лежал, не записываю. Виктор Ильич, доски.

Доски снимали мы с ним — я обеими руками, он одной. Под досками была яма: неглубокая, с кирпичными стенками, с водой на дне в палец. А на кирпичном уступе вдоль стенки, над водой, лежало то, за чем мы пришли, — и лежало так, что я понял это раньше, чем увидел, по одному только тому, как оно было прикрыто: брезентом, аккуратно, углами внутрь. Так укрывают своё.

Белова спустилась в яму сама. Отвернула брезент.

Свёртки. В газетах, перевязанные шпагатом — таким же серым, каким Нина вязала Мазина. Она подала первый наверх, парню в промасленной куртке, — тот принял, как принимают чужого ребёнка, — вылезла, взяла у него свёрток, положила на верстак под лампочку, развязала и развернула так, чтобы видели все.

«ВЭФ-202». Тот самый — с ручкой сверху, в чехле из коричневого кожзама, с длинной шкалой за стеклом. Новый: на ручке — заводская бирка на нитке. Белова повернула его задней стенкой вверх, нашла табличку, прочла вслух номер — длинно, по цифрам, как читают в телеграмме, — и достала из папки лист.

Обыкновенный лист, в клетку, исписанный её почерком, столбиком: номера из паспортов, переписанные из тех книжечек, что лежали в пустых коробках в кладовой. Не картотека.

Не запрос. Ни одна контора на свете не могла ей сказать, куда ушёл приёмник с таким-то номером; но у неё был этот лист, а на верстаке — табличка, и она вела пальцем по столбику, пока не дошла.

— Есть, — сказала она.

И дальше так же. Свёрток из ямы — наверх — на верстак — газета — чехол — табличка — палец по столбику — «есть». Парень с «Явы» на третьем сказал: «Это ж „ВЭФ“. Мне бы такой», — и Белова, не поднимая глаз от листа, ответила: «Вам бы такой — в магазине», — и парень замолчал и дальше уже только принимал. Ряд на верстаке рос: приёмник к приёмнику, коричневые, одинаковые, и всякий раз, когда Белова говорила «есть», я чувствовал под грудью тот самый короткий тёплый толчок — тот, что бывает, когда ход получился. Только теперь он был не мой. Он был общий, на весь гараж.

Ряд кончился раньше, чем лист.

Белова провела пальцем по столбику до конца, потом ещё раз, сверху.

— Не все, — сказала она. — Здесь меньше, чем номеров у меня. Заметно меньше.

— Остальные ходят, — сказал я. — По рукам. Он их не хранил — он их продавал. То, что здесь, — это то, что не успел.

— Это версия, — сказала Белова.

— Это версия.

— Но номера — да. — Она взяла лист обратно. — Эти — совпали. При понятых. С теми паспортами, что из кладовой. Это уже не «Сомов видел». Это то, что лежит на верстаке.

Она сказала это не мне и не Виктору Ильичу, а как будто гаражу, и я понял, что для неё это — тот самый толчок под грудиной, только вслух она его не называет.

Дальше было её: протокол, который она писала, положив папку на тиски; понятые, которые читали записанное и уточняли, что видели; Скворцов, который подписал первым и снова посмотрел на часы. Жук по её просьбе связался с отделом — из машины, по рации под панелью, — и сказал в тангенту, что нужна машина под груз; в рации что-то проскрипело, и Жук передал: «Будет. Как освободится. У них на мосту что-то». Виктор Ильич сел на крышку у ворот, лицом к проезду, достал папиросы и не закурил.

А Белова пошла к Кузьмичу.

Она встала у его открытых ворот — не внутрь, — с папкой, и Кузьмич снял очки. Я стоял у уазика, где мне и полагалось, и слышал всё.

— Фамилия, имя, отчество.

— Гусев. Борис Кузьмич.

— Вы вчера говорили с капитаном Кравцовым, — сказала Белова. — Я спрошу по-своему. Вы видели машину. Марку назвали, цвет назвали. Кого вы видели за рулём?

— Видел, что кто-то сидел, — сказал Кузьмич. — Молодой. Худой. Лица не разглядел: под вечер было, и я не смотрел.

— Кулакова видели?

— Стёпу — видел. Его я знаю восемь лет, через стену.

— Он открывал этот бокс?

— Открывал. Своим ключом. Я другого не видел, чтобы открывал.

— Что вносили?

— Свёртки. Я вашему говорил. В газетах.

— Вы видели, что в свёртках?

— Нет.

— Тогда я так и запишу: свёртки. — Белова писала, стоя, на папке. — Чей бокс?

— Стёпин. То есть он в нём. А по бумагам — не знаю, я в бумаги не смотрю. При мне он тут давно.

— Чей он по бумагам, я установлю сама, — сказала Белова. — Вас я про бумаги не спрашивала и спрашивать не буду.

Кузьмич выдохнул. Это было слышно от уазика: человек, который боялся, что от него потребуют сказать больше, чем он видел, услышал, что больше не нужно.

— Я за свёртки отвечаю, — сказал он. — За то, что внутри, — нет.

— За то, что внутри, отвечаю я, — сказала Белова, и это была не любезность, а распределение.

Пока Белова писала, а Виктор Ильич сидел на крышке, я пошёл посмотреть полосу. Не по делу — по привычке, которая старше любого дела: где что, откуда куда видно, где сворачивают.

Проезд шёл прямо до поворота, и за поворотом — я дошёл — полоса брала влево, вдоль того же забора, и открылось второе колено: короче, боксы пожиже, железные вперемежку с дощатыми; упиралось оно в забор из бетонных плит с воротами — распахнутыми, ржавыми, за которыми виден был двор: разбитый грузовик без кабины, стена мастерских с большими окнами. Ремонтный двор. За ним — крыши, и в просвете между крышами — улица. Я постоял и увидел, как через двор прошла женщина с сумкой — не оглядываясь, как ходят коротким путём.

И на обратном пути, уже в первом колене, чуть не доходя до уазика, я увидел щель.

По левой стороне, той, что спиной к пустырю, боксы стояли не сплошь: через каждые сколько-то их разделял зазор — где в кирпич, где в плечо. Этот был в плечо, и был он наискось через проезд от бурых ворот, шагах в пятнадцати к повороту. В нём, поперёк, на уровне колена, лежала труба в дощатом коробе — та самая, «где труба идёт», — и за коробом был свет: пустырь. Я перешагнул короб — плечо задело кирпич, и ушиб сказал своё, негромко, — и вышел с той стороны.

Пустырь лежал внутри угла, который полоса делала вместе с заводским забором: широкий, в лопухах по пояс, с кучами битого кирпича, с одной берёзой. Боксы левой стороны — те, что до поворота, — уходили от меня вправо, спинами ко мне, до самого угла; там полоса поворачивала, и от угла, уже спиной к пустырю с другой его стороны, уходили вдаль, к ремонтному двору, боксы второго колена. Два ряда спин сходились углом, а пустырь между ними был угол, который срезают: от щели, в которой я стоял, через лопухи наискось шла тропа — натопанная, с окурками, — и терялась там, где спины второго колена темнели на солнце. Там, наверное, была такая же щель. Наверное. Я не пошёл проверять: до конца тропы было далеко, а Белова не любила, когда люди пропадают с её обыска. Но я это увидел — щель, тропу, направление — и положил туда, где у меня лежала полоса.

Когда я вернулся, Жук стоял у открытого капота, и уазик работал — ровно, прогрелся, — но Жук всё равно стоял над ним, как стоят над человеком, который сейчас-то в порядке, а утром опять. Он посмотрел на меня, потом на мотор, потом снова на меня, как будто решал, стоит ли, — и решил, что стоит.

— Троит, — сказал он. — На холодную. Мне уже все сказали, что делать. Все. Завгар говорит: свечи. Я поменял свечи — троит. Сосед мой, у него «Волга», — говорит: карбюратор. Я продул карбюратор — троит. Руднев в это не лезет, Руднев говорит: «Жук, чтоб завтра ехала». Она и едет. Троит, но едет. — Он посмотрел на Виктора Ильича на крышке. — А Виктор Ильич говорит: прогревать. Он всем говорит прогревать. Он и людей так: прогреет, потом спрашивает.

Виктор Ильич с крышки сказал, не оборачиваясь: «И помогает», — и Жук махнул на него рукой.

— А на горячую — ровно совсем? — спросил я. — Не подрагивает на холостых?

— Ровно.

— Раз свечи сменил, я бы дальше впуск посмотрел. — Я подошёл и посмотрел под капот. Мотор был тот самый, который я знал по другой жизни — по чужим уазикам, по чужим водителям, стоявшим над ним ровно так же, — и он был на месте, весь, до последней трубки. — Может, лишний воздух подсасывает. На впуске соединение неплотное, прокладка. На холодном заметнее, прогреется — ровнее работает. У меня похожее было. Пусть механик на холодном моторе проверит, прежде чем опять свечи менять. Сейчас-то он ровный, сейчас мы тут до ночи простоим и ничего не услышим.

Жук смотрел на меня. Долго. Потом на мотор. Потом опять на меня.

— Ты когда это в моторах стал понимать?

— Сегодня.

— Сегодня, — сказал Жук. — Ты у меня в этой машине сколько ездешь — и ни разу не спросил, чего она троит. А сегодня — прокладка.

— Ты ни разу не рассказывал.

— Я всем рассказываю. — Он посмотрел на стык коллектора так, будто тот от него что-то скрывал все эти месяцы. — Впуск, значит. — Помолчал. — Ладно. Проверю. Если не там — я тебе скажу.

— Скажи.

— Я скажу, не сомневайся.

И только потом, отойдя к воротам, я понял, что произошло. Всю неделю я разговаривал с этим годом, как разговаривают на экзамене, — про себя проверяя каждое слово: так ли здесь говорят, есть ли уже здесь то, о чём я собираюсь сказать. А тут человек спросил меня про мотор — и я ответил ему про мотор. Не проверяя. Потому что мотор был тот же и водитель был тот же, и над этим стыком одинаково стояли в любом году. Я впервые здесь ответил не как человек, который сверяет календарь, а как человек, у которого спросили. Это было приятно.

Машина под груз не шла.

Жук связывался ещё раз, и ещё, и рация отвечала ему тем же скрипом: на мосту, как освободится. Белова кончила протокол и не кончила ждать; приёмники лежали на верстаке, коричневые, в один ряд, под лампочкой, и она не собиралась оставлять их ни на минуту, ни с кем, — это было видно по тому, как она встала между ними и воротами, когда Скворцов в третий раз сказал про баню. Понятые сидели на крышах. Кузьмич не уходил: от своей стены не уходит.

Солнце село за заводские трубы, и свет пошёл серый — ровный, без теней, тот, в котором всё ещё видно и уже ничего не видно точно. С полосы разъезжались: хлопали ворота, взвизгивали замки. К темноте полоса пустела. Мы — нет. Мы стояли у открытого гаража с лампочкой, с уазиком, с людьми, — и с каждой минутой это всё больше походило на витрину, освещённую посреди тёмной улицы.

— Он придёт, — сказал Виктор Ильич негромко, мне. — Не сегодня. Сегодня он знает, что мы тут были. Но одеяло его. Он к одеялу вернётся, когда решит, что мы ушли. Я Рудневу скажу — двоих на ночь, в бокс, с погашенным светом. Так и возьмём — на тюфяке.

— Если это его одеяло, — сказала Белова от ворот. Она слышала. — Вы это знаете? Я не знаю.

— Не знаю, — согласился он. — Я это и не в протокол говорю, Лидия Андреевна. Я говорю, где его ждать.

Я не спорил ни с ним, ни с ней. Я думал о том, что человек, у которого здесь тюфяк, окурки и то, чего он не успел продать, — этот человек, если он не совсем дурак, придёт не ночью, когда пустая полоса слышит каждый шаг, а вот в такое время: в серое, когда все ещё разъезжаются и одним больше — не заметно. И придёт не с улицы, где с вечера стоял газик сержанта, а с той стороны, где ремонтный двор и дырявый забор, — оттуда, куда «полгорода ходит».

— Виктор Ильич, — сказал я. — Вы смотрите на въезд. Я — на поворот.

— Я и так на въезд.

— Я знаю. Я себе.

Он усмехнулся в серый свет и остался, где сидел. Я перешёл к носу уазика и встал так, чтобы видеть проезд до самого поворота: пустой, серый, с лужей, в которой отражалось небо. Жук сидел за рулём с погашенными фарами — «аккумулятор», сказал он, когда Белова попросила света. Кузьмич поднялся с табуретки, подошёл и встал рядом со мной, и закурил, и мы стояли вдвоём и смотрели на поворот — человек, который был здесь всегда, и человек, который был здесь шестой день.

Он вышел из-за поворота так, как выходят к себе домой.

Не крадучись, не выглядывая — просто вышел и пошёл. Фигура в сером свете, далеко, на той стороне проезда, что вдоль забора: кепка, тёмная куртка, руки в карманах, походка быстрая, боком, плечом вперёд, — так ходят, когда привыкли, что на них не смотрят. Я не шевельнулся. Не потому, что узнал, — потому что не узнал: в этом свете кепка была кепкой, а куртка курткой. Я стоял у носа уазика и ждал того места, откуда он нас увидит.

Он увидел раньше, чем я думал. Лампочка в гараже, открытые створки, уазик — всё это стояло в сером свете, как освещённое окно, и он это увидел на полдороге к нам. Он сделал ещё два шага — по инерции, как делают, когда тело идёт, а голова уже нет, — и встал. И повернул голову — не к нам, в сторону, к забору, — и в этом повороте, в плече, ушедшем вперёд раньше головы, я увидел двор магазина: человека у ворот, который так же повернулся, прежде чем просунуться в щель створки.

Рядом со мной Кузьмич вынул папиросу изо рта.

— Стёпа, — сказал он. Негромко. Не мне — себе, как говорят «дождь», увидев дождь.

Он побежал.

Не сразу назад — сначала вбок, к забору, будто хотел в него вжаться, — а потом уже назад, к повороту, и побежал хорошо: не так, как переступал Мазин, а по-настоящему, низко, руки из карманов, кепку — ладонью на голову. Я уже бежал — и слышал за спиной, как Виктор Ильич встал с крыши — крышка стукнула о створку, — и как он крикнул, не мне:

— Жук! Свет!

Фары ударили по проезду. Сразу, оба, дальний — Жук, видно, держал руку на переключателе, — и проезд стал белым до самого поворота: лужа, колеи, ворота, ворота, ворота — и спина в тёмной куртке, летящая к углу. Он обернулся на свет — на бегу, через плечо, лицо белое, — и прибавил.

Я бежал за ним по проезду и уже понимал, что это без толку. До него было далеко, он был быстрее, чем я думал, и проезд был прямой — коридор, в котором ничего не сократишь: сколько между нами есть, столько и будет до самого угла, а за углом — второе колено, такой же коридор, и в конце его — ремонтный двор, распахнутые ворота, забор, через который ходит полгорода, а за забором — город, в котором он уже неделю умел не находиться. Он шёл туда. Больше там ничего не было; я видел это днём своими глазами, а он оттуда пришёл.

За мной, тяжело, бежал Виктор Ильич — я слышал его по дыханию, — и, не сбавляя, крикнул назад, к машине, так, что голос ушёл под брезент:

— Жук! Он к ремонтному! Передай — и с улицы, к воротам мастерских, объезжай! Живо!

Уазик за спиной взревел — с первого раза, ровно: прогрелся. Белова у ворот что-то коротко сказала понятым; она оставалась с верстаком, как и должна была.

И тут я увидел щель. Слева, наискось через проезд, чёрная, в плечо, — та самая, с трубой в коробе, за которой был пустырь и тропа, — и всё, что я знал о ней, было ровно то, что видел днём: щель, тропу, направление. Куда выходит тропа — я не проверил. Я знал только, что два ряда сходятся углом, что он побежит по обеим сторонам этого угла, а тропа идёт поперёк, и

что человек, который бежит по двум сторонам, всегда пробегает больше, чем тот, кто бежит по третьей. Если третья есть. Если она не кончается кучей кирпича.

Это надо было решать сейчас, за два шага, и я решил.

— Я через щель! — крикнул я Виктору Ильичу. — Наперерез!

— Давай! — Он не спросил, какую; видно, заметил днём, куда я ходил. — Я держу его!

Я свернул. Через проезд, через свет, — тень моя метнулась по воротам, огромная, — и в чёрное, в щель, боком, правым плечом вперёд. Короб с трубой был там, где и днём, на уровне колена: я перемахнул его, не глядя, — и левое плечо чиркнуло о кирпич, и ушиб сказал своё, уже не негромко. Кобура стукнула о бедро. И я вылетел из щели на пустырь, как выныривают.

Здесь было темнее. Свет фар остался за спиной, за рядом; здесь был только серый остаток неба, и в нём — чёрные спины гаражей справа от меня, уходящие к углу, и чёрные спины второго колена дальше, впереди и правее, уходящие вдаль, к ремонтному двору; и между ними — лопухи по пояс, серые, мокрые, и в лопухах — просвет тропы. Я побежал по ней.

Бежать по ней было плохо. Тропа была натоптана для ходьбы, не для бега: она виляла между кучами кирпича, ныряла в ямы, которых днём я не заметил, потому что днём я по ней не бежал; лопухи хлестали по коленям, мокрые, тяжёлые; подошвы — те же тонкие подошвы, в которых я стоял в понедельник на чужом асфальте, — скользили по глине, и раз я поехал на пятке, поймал равновесие рукой о кирпич и побежал дальше, не разгибаясь. Дыхание было чужое — в хорошем смысле: молодое, глубокое, с запасом; тело бежало так, как я не бегал лет пятнадцать. Я успел это почувствовать и убраться: посмотреть надо было вперёд.

Вперёд и правее — на спины второго колена. Они шли по краю неба чёрной зубчатой полосой: крыша, крыша, крыша повыше, крыша, — и где-то в этой полосе была щель, такая же, как та, что осталась сзади. Днём я видел, где тропа исчезает. Я держал на это место — на крышу повыше — и держал берёзу слева, чтобы не пойти дугой.

За спиной, за рядом, бежал Виктор Ильич, и его было слышно: голос, не шаги. «Кулаков! Стой!» — раз, потом ещё раз, дальше и правее, уже у самого угла. Значит, он его видел. Значит, тот ещё не ушёл за угол — или только что ушёл. Потом голос переместился: «Стой, дурак! Хуже будет!» — и это было уже из-за угла, из второго колена, — глухо, отражённо от бетонного забора. Виктор Ильич добежал до угла и видел его. Он держал.

Узика слышно не было. Куда его повёл Жук — по проезду, за ними, или назад, к въезду и в объезд, — я не знал.

Тропа пошла вверх — куча кирпича, заросшая, — и с неё я увидел, что спины второго колена ближе, чем я думал, и что тропа не ведёт к ним прямо: она уходила правее, вдоль спин, к тому месту, где чёрная полоса крыш прерывалась. Щель. Она была. Я скатился с кучи и побежал — уже не по тропе, напрямую, через лопухи, потому что тропа виляла, а мне было некогда.

Лопухи кончились у стены. Кирпич, сырой, холодный; я пошёл вдоль него правой рукой по стене, чтобы не пропустить, — и рука провалилась в пустоту. Щель. Теснее первой: в ней стоял хлам — панцирная сетка, ржавая, поставленная на ребро, ведро, — и за хламом, дальше, был свет. Не фары — серый вечерний свет второго колена, последний, тот, в котором ещё видно. Я отбросил ведро — оно загремело, и это было плохо, но было уже всё равно, — перекинул ногу через сетку, за ней плечо, ушиб отозвался, — и вошёл в щель, боком, лицом к свету.

И услышал.

Не Виктора Ильича — тот был далеко и позади. Ближе. За стеной, за одной кирпичной стеной от меня, по проезду второго колена бежали. Быстро, легко, на всей ноге — так, как бежал он в свете фар. Звук шёл по стене, как по трубе, и я не мог понять, откуда: справа, от угла, — значит, он ещё не поравнялся со мной, и я выйду перед ним; или уже слева, дальше, к ремонтному двору, — значит, он прошёл, и я выйду ему в спину, и всё, что я сейчас сделал, было зря.

Два шага до света. Я сделал первый.

Глава 4. Первое закрытое дело

Второй шаг я сделал уже на свету.

Щель выпустила меня в проезд второго колена — боком, плечом вперёд, как выплёвывают, — и первое, что я увидел, было не то, чего боялся, и не то, на что надеялся. Спина. Слева, там, где проезд упирался в бетонные плиты, тёмная куртка мелькнула в ржавых воротах ремонтного двора и пропала за створкой. Он прошёл. Он был впереди.

Но близко. Не так, как в первом колене, где между нами лежал весь проезд и я мог только смотреть, как он его пробегает. Тропа сделала своё: она срезала угол, который он огибал по двум сторонам, и вернула мне почти всё, что он выиграл у меня на прямой. Не всё. Почти. Виктор Ильич был где-то далеко за спиной, у угла, — «Стой, дурак!» — и голос его доходил сюда, как с другого берега.

Я побежал. Второе колено было короче и темнее первого: фары сюда не доставали, боксы стояли жиже, железные попеременно с дощатыми, и над одними воротами горела лампочка в консервной банке, а больше ничего не горело. Подошвы скользили — на глине, на масляных пятнах, на щебёнке, — и я бежал, вытянув шею вперёд, как бегут по льду. Кобура била по бедру. Дыхание было ещё чужое и ещё хорошее, а плечо после сетки в щели уже не молчало: оно шло рядом со мной, как отдельный человек, и что-то говорило.

Ворота были распахнуты внутрь, обе створки, ржавые, в человеческий рост, — и я влетел в них, не сбавляя, и встал.

Двор был меньше, чем казался днём из-за ворот, и светлее, чем я ждал. Над дверью мастерских горела лампа в железной сетке, и в двух больших окнах тоже был свет — жёлтый, ровный, с тенью какого-то станка, — и в этом свете двор лежал передо мной весь, как выложенный на стол. Слева, у плитного забора, — тот самый грузовик без кабины, ржавый, на голых дисках. Посередине — фургон: хлебный, с высокой будкой, на грузовом шасси, с надписью «ХЛЕБ» по борту; стоял носом к выезду. Выезд — прямо напротив меня, в кирпичной стене: широкие ворота, распахнутые на улицу, и в самом проёме — легковая машина с поднятым капотом, старая, горбатая, «Победа». Кормой на улицу, носом во двор. От капота вниз свисала на шнуре переноска, и в её свете над мотором торчала спина в ватнике. А правее ворот, шагах в десяти по той же стене, — калитка: узкая, железная, приоткрытая; за ней фонарь и кусок тротуара.

Два выхода на улицу. Один заткнут «Победой», другой — в ширину человека. И люди: спина в ватнике над мотором и, в самой «Победе», за ветровым стеклом, освещённое переноской лицо — немолодое, в кепке, с папиросой. Двое. Субботний вечер, никого нет, тихо; они выкатили её задом в ворота — видно, чтобы толкать с горки на улицу, — и не дотолкали, и чинили тут же, где встала.

Кулаков был уже у фургона. Он не бежал — он шёл к нему тем же быстрым боком, каким шёл к своему боксу, и рванул водительскую дверцу, и она открылась: не заперта. Здесь ничего не запирали. Здесь ходило полгорода.

— Милиция! Стой! — крикнул я, уже вбегая в ворота, и это было не для него: он знал, кто мы, с полдороги первого колена. Это было для тех двоих.

Стартер завыл — сухо, длинно, — и фургон дёрнулся. Не поехал — дёрнулся, всей будкой, как вздрагивают во сне: стартер потянул его вперёд на передаче, и я понял, зачем он стоит в этом дворе. Сцепление. Оно вело, оно не отпускало, и машина ползла от одного стартера. Спина в ватнике разогнулась над «Победой».

— Э! — крикнул ватник. Не мне. Фургону. — Э, куда?! Это хлебный!

Мотор схватил. Взревел — холодный, на всю будку, — и фургон пошёл. Без света, рывками, с той нелепой тяжёлой прытью, с какой трогается грузовик с пустым кузовом, — прямо на выезд. На «Победу». На лицо за ветровым стеклом.

И ватник побежал. Не от фургона — к нему. Навстречу, в проём, с переноской в руке, размахивая ею, как машут поезду, — заслонить: за его спиной была его машина, а в машине — свой.

— Стой! Там человек! Стой, там Трофимыч!

Я бежал к кабине — до неё было ближе, чем до него, я успевал к дверце, к рулю, к его рукам, — и я это бросил. Тело повернуло само, раньше, чем я успел с ним согласиться: не к кабине — к ватнику. Кабина никуда не денется. А этот через мгновение ляжет под бампер, и тогда всё остальное будет уже неважно.

Я взял его сбоку, на бегу, обеими руками за ватник, и сорвал с линии, как срывают со стены. Он был тяжёлый, с упором, он не хотел, он рвался обратно — «Пусти! Там!..» — переноска вылетела у него из руки, шнур натянулся и лопнул где-то под капотом, и свет погас; мы свалились сбоку от грузовика без кабины, у самого голого диска; я упёрся правой ладонью в щебёнку, ободрав её до крови, и удержал ватник на себе.

— Из машины! — заорал я лицу за стеклом. — Вон! На улицу!

А фургон прошёл там, где стоял ватник. В шаг. Я видел, как мимо этого места проехал угол будки — медленно, как проезжают мимо остановки.

И дошёл до «Победы», и встал. Бампер в бампер, с коротким глухим жестяным звуком, от которого «Победа» качнулась, а лицо за стеклом дёрнулось назад. Мотор заглох — сразу, как перерезали. Что он там думал, за рулём, я не знал и не узнаю: может, увидел человека за стеклом, может, просто не сумел с этим сцеплением. Я видел только, что он ткнулся — и не стал давить. И в этой тишине человек за ветровым стеклом вывалился из «Победы» — боком, в щель между дверцей и столбом, к улице: сначала кепка, потом рука с папиросой, потом он весь, — и ватник у меня в руках выдохнул: «Ох ты ж...»

В проём ударил свет. С улицы, снизу, оба сразу — дальний. Уазик встал поперёк выезда, впритык к багажнику «Победы», и Жук уже вылезал — не со своей стороны, а через пассажирскую, ближе к нам, тяжело, молча, ничего не спрашивая.

— Жук! Этих двоих — к себе! За машину!

Я толкнул ватник от себя, к воротам, и Жук поймал его за ворот так, как ловят не глядя, — как поймал бы мешок, — и повёл, и подхватил по дороге второго, который стоял у «Победы» с папиросой во рту и смотрел на свою разбитую фару. Они ушли за уазик, на улицу. Там было их место, и теперь во дворе не было никого лишнего.

Стартер завыл снова. Фургон дёрнулся назад — он нашёл заднюю, — раз, другой, отполз от «Победы» на длину, и нос его пошёл влево, к плитному забору, к грузовику: он крутил руль, чтобы вывернуться из проёма и — куда-то. Куда, было некуда. Крыло с визгом прошло по голому диску грузовика. Я не побежал к кабине и теперь.

Я побежал к калитке.

Потому что фургон был больше не выход, и он это уже знал не хуже меня. Выезд заткнут «Победой» и уазиком. Назад, в ржавые ворота на полосу, — некуда: там свет, там наши, и там, судя по голосу, уже сам Виктор Ильич — «Кулаков! Всё! Всё, слышишь!» — и я увидел его в воротах: тёмный, широкий, с левой рукой, прижатой к груди, он входил во двор так, как входят на свой участок, — не быстро. Он закрыл ту сторону тем, что стоял в ней. Оставалась калитка. Узкая, в ширину человека, с фонарём за ней. Я встал у неё — не в проёме, а рядом, внутри, спиной к кирпичу, в тень от столба, — и стал ждать.

Пистолет был на месте, у бедра, под курткой, и был ни при чём. В спину бегущему не стреляют; и не за приёмники. У меня были руки — и та, что левая, была сегодня хуже правой.

Фургон дёрнулся ещё раз и заглох — с хлопком, будто им хлопнули дверью, — и больше стартер не выл. Дверца кабины открылась. Он выпрыгнул — низко, сразу в бег, кепку ладонью на голову — и побежал. Ко мне. К калитке. Он не мог не побежать сюда: всё остальное было занято, а здесь было темно и виднелся фонарь. Я стоял в тени и не шевелился, пока он не сделал полдороги.

Он увидел меня на последних шагах — когда я вышел из тени в проём — и не остановился. Некуда было останавливаться. Он сделал то же, что во дворе магазина: голову вниз, плечо вперёд, и — в проём, сквозь меня, как сквозь створку. Он был тяжелее, чем казался на бегу: грузчик, спина и руки грузчика, — и, прими я его на плечо, он вынес бы меня на улицу вместе с собой. Я не принял. Я шагнул к нему — не назад, к нему, — и, пока его плечо ещё шло вперёд, положил ему предплечье поперёк горла и просто перестал двигаться. Он налетел на него всем своим бегом. Ноги пошли дальше, а горло — нет; он взлетел, как взлетают, поскользнувшись на льду, и лёг спиной на щебёнку с таким звуком, будто уронили мешок с картошкой, и кепка отлетела к столбу.

Я пошёл на него сверху — коленом, прижать, пока не вдохнул, — и опоздал: он уже перекатился. Был на четвереньках, потом на колене, — и правая его пришла мне в лицо снизу, коротко, в губу; я почувствовал собственные зубы изнутри и вкус железа. А левая уже держала меня за куртку, за левый бок, за тот самый шов, что Вера клала крупным стежком, — и он повернул. Как поворачивают куль: за угол, на себя. Куртка натянулась на левом плече, и я стиснул зубы: ткань врезалась в старый синяк. Я не стал упираться в его хватку, а сделал то, что позволяло освободиться: пошёл туда, куда тянут. Всем весом, разом, локтем вперёд. Локоть нашёл его лицо — посередине, где нос, — и нос ушёл под локтем с тем хрустом, который узнаёшь один раз и навсегда. Он заорал. Не слова — просто заорал, высоко, — и хватка на куртке пропала: руки его ушли к лицу. Кровь была уже везде — на его подбородке, на моём рукаве, чёрная в этом свете, — и он, ослепнув от неё, всё равно дёрнулся из-под меня вбок, к калитке, животом по щебёнке, как выползают из-под забора. Я поймал его правую — за кисть, — вывернул к лопатке и упал ему коленом на спину, между лопаток, всем, что во мне было.

Он ударил каблуком в калитку — железо загудело, — ещё, — и завыл в щебёнку:

— Я не резал! Слышь! Я не резал! Это Игорь! У меня ножа нет — обыщи! Обыщи, я не ношу!

— Лежи, — сказал я. Губа была разбита, и «лежи» вышло невнятно, но он понял.

Он попробовал ещё раз — спиной, вверх, как выгибаются, — я добавил на руку, и он лёг. Совсем. Только дышал в щебёнку — с бульканьем, через кровь.

Тогда я услышал шаги. Тяжёлые, неровные — Виктор Ильич шёл через двор, уже не бежал, — и дыхание его я услышал раньше шагов. Он подошёл и остановился надо мной, и я увидел его ботинки и увидел, что левая рука, прижатая к груди, дрожит: он держал её так всю дорогу на бегу, и теперь она ему это предъявляла.

— Стёпа, — сказал он. Негромко. Так, как сказал Кузьмич. — Ну вот. Лежи, лежи. Никто тебя не режет.

— Виктор Ильич... — из щебёнки. — Виктор Ильич, я ж не...

— Знаю. Помолчи. Коля, руку ему отпусти немного. Он не убежит, у него нос.

Я отпустил — немного. Со стороны улицы, из-за «Победы», из-за уазика, уже шли: Жук, а с ним двое в фуражках — наряд с Рабочей, тот, которому Жук передавал ещё с полосы; у одного в руке звякнуло. Виктор Ильич повернулся к ним раньше, чем они дошли, и голос у него стал другой — не тот, что для Стёпы:

— Наручники. Сзади. Потом посадите его к стене, головой вперёд, чтоб не захлебнулся. Один со мной, другой к машине — дежурному: взят, во дворе мастерских; и вторую машину на полосу, там Белова с товаром и понятиями одна.

— Не одна, — сказал Жук. — Там Кузьмич.

— С Кузьмичом, — согласился Виктор Ильич.

Наручники защёлкнулись у Кулакова за спиной, и его подняли — вдвоём, под руки, — и посадили к стене, рядом с калиткой, и он сидел, свесив голову, и кровь капала с носа на куртку, на колени, на щебёнку, а он всё говорил, гнусаво, в землю: что он никого, что он мимо шёл, что фургон — так это ж хлебный, он на таком ездил, он думал — грабят. Виктор Ильич достал свой платок, сложил его и передал сержанту. Тот присел перед Кулаковым и прижал ткань к носу; Стёпа сопел открытым ртом и пытался говорить сквозь платок.

Я сел на ступеньку калитки. Не потому, что решил, — ноги решили. Руки у меня тряслись — не от страха, от того, что было в них минуту назад и уже кончилось, — и ладони были ободраны о щебёнку, обе, и на левой не хватало кожи на костяшках. Губа набухала. Плечо сидело на месте — я проверил, поднял: поднялось, и это было всё, что я хотел о нём знать. Я посмотрел на туфли. Левая подошва отстала от носка и висела, как язык. Больше я в них никуда не побегу — не потому, что зарёкся, а потому, что не в чем.

Из-за уазика вышел Трофимыч. Подошёл, посмотрел на Кулакова у стены, на кровь, на меня, потом на «Победу» — правая фара у неё была разбита, — потом на хлебный фургон, у которого левое крыло было смято об диск грузовика, как бумага.

— Ты меня зачем из машины гнал? — спросил он. Меня. — Я в ней сидел, я бы отъехал.

— Она у вас не заводилась.

— Так это со стартера. А с толкача — она хоть куда. — Он подумал. — Ладно. Фару он мне разбил. И крыло хлебному, вон. Это вы запишите: мне его в среду сдавать. Я до среды обещал.

— Сцепление?

— Ведёт, — сказал Трофимыч и посмотрел на меня так, как смотрел Жук над своим мотором: откуда, мол.

Ватник подошёл следом. Молодой, с чубом, с погасшей переноской в руке; он держал её за оборванный шнур, как держатдохлую птицу.

— Ты меня чуть не порвал, — сказал он. — Я не понял, что ты кричал. Я думал, ты с ним заодно.

— Я думал, ты под бампер ляжешь.

— Я б отскочил.

— С переноской в руке, — сказал я. — Стоя лицом. Ты не отскакивать бежал.

Он посмотрел на фургон, на то место, где стоял, и на угол будки, и ничего больше не сказал. Постоял. Потом пошёл к «Победе» — закрыть капот.

Виктор Ильич сел рядом со мной на ступеньку. Тяжело, с выдохом; левую он держал на колене и смотрел на неё так, будто она чужая и её надо кому-то вернуть.

— Ты вышел за ним, — сказал он. — Не перед.

— Тропа кривая.

— Я видел от угла, как ты выскочил. Из стены — как чёрт. Он впереди, ты сзади, — и я подумал: всё, ушёл. А потом посмотрел, сколько между вами, и подумал другое. — Он помолчал. — Я тебе «давай» сказал, когда ты уже бежал. А подумал — у угла. Если там кирпич, думаю, — ты в лопухах, а я тут один, с этой.

— Кирпича не было.

— Не было, — сказал он. — Я себе.

Газик наряда стоял на Рабочей за уазиком, и Кулакова повели к нему — под руки, с платком у лица; он оглянулся на нас от калитки и сказал: «Виктор Ильич, я ж всё расскажу, вы только скажите ей, что я не резал», — и его посадили. Виктор Ильич поднялся.

— Я с ним поеду, — сказал он мне. — Погреемся. Ты с Жуком — за Беловой, она нам с тобой этого не простит, если мы её там до утра оставим. — Он посмотрел на мою губу. — Нос ему в больницу по дороге. К той же, наверное.

— К той же, — сказал я и поймал себя на том, что подумал не про нос.

Узик развернулся на Рабочей, и Жук сказал, не оборачиваясь: «Дверь. Хлопнуть», — и я хлопнул. Как надо. С первого раза.

* * *

Десятого сентября было воскресенье, и я проснулся от того, что попробовал повернуться на левый бок.

Плечо после вчерашних тесных проходов напоминало о себе, когда я нажимал на старый синяк; двигалась рука свободно. Ладони саднило. Губа была толстая и чужая, и, когда я умывался, вода в неё вошла, как в трещину. Ничего из этого не было новым. Всё это было своё, заработанное, и оно не мешало думать — а думать было приятно, потому что думать было о законченном.

Вера увидела губу, когда я вышел на кухню, и туфли, когда я вынес их в прихожую — обе в одной руке, левую с отставшей подошвой. Она посмотрела на губу, на туфли, на меня.

— Ага, — сказала она.

Это было третье. Я подождал, будет ли что-нибудь ещё, и было:

— В шкафу, внизу, твои старые. Коричневые. Они тебе велики, ты в них два носка носил. Ты помнишь?

— Помню, — сказал я. Я не помнил. Я знал только, что коричневые старые ботинки во всех домах лежат внизу в шкафу, и пошёл их искать, и нашёл, и они мне были велики. Два носка.

— Сегодня магазин, — сказал я из прихожей. — Мы дело закрываем.

— Ага, — сказала Вера. Четвёртое. Я решил больше их не запоминать: она сама предъявит, когда сочтёт нужным, и предъявит точнее меня.

Магазин по воскресеньям работал, и к десяти на Рабочей у угла стоял узик, а у узика стояли Белова с папкой и Виктор Ильич в сером пиджаке, серый сам, с лицом человека, который лёг в три и встал в семь. Левую он держал по-прежнему у груди, но ниже, чем вчера. Жук сидел за рулём и грел. Мотор работал ровно.

— Проверили, — сказал Жук мне вместо «здравствуй». — С механиком, утром, пока холодная. Подсос на впуске нашли. — Он смотрел на меня из окна снизу вверх, как смотрят на прогноз погоды, который сбывается. — Прокладка. Завтра поменяю.

— Скажи потом, — сказал я.

— Я тебе ещё скажу. Это ты мне потом скажи, если она опять затроит.

Белова ждала, пока мы кончим. Она умела ждать так, что было ясно: она ждёт. Потом сказала — Виктору Ильичу, не мне:

— Вы ей что скажете?

— Что всё, — сказал Виктор Ильич.

— И что — «всё»?

— Лида. У неё торговля, у неё люди. Ей нужно одно слово. Остальное — ваше.

— Остальное — моё, — согласилась Белова. — Поэтому я хочу, чтобы это одно слово было моё тоже. Слушайте, как оно легло. Я его сегодня в девять допрашивала, и я хочу, чтобы вы двое знали, что именно у меня есть — помимо того, что ему хочется, чтобы у меня было.

Она не открыла папку. Ей не нужно было.

— Партия пришла в августе. Принимал Кулаков — он тогда ещё был грузчик, — повесил свой замок, заведующая расписалась, не заглядывая. С середины августа он выносил их по одному: в чехле, под курткой, через приёмку, вечером, как носят домой хлеб. Продавал сам.

У бани, на заводе, мужикам, кому придётся, — без скупщика, без посредника, за половину. В конце августа его уволили за прогулы, а замок остался его, и ключ остался у него, и никто не спросил, что за замком. Второго, в субботу, он с Мазиным и с мазинским «Москвичом» вывез, сколько влезло в яму, — это то, что мы вчера доставали и сверяли. Кузьмич видел машину и Кулакова, бокс по бумагам — на сварщика, Саня утром подтвердил: отдал Стёпе ключ лет восемь назад, сам не ходил, сыро. Четвёртого он пришёл за остатком — за тем, что в коробках. Ему не хватило одного: что Лосева по вечерам сама выходит во двор к таре. Она сегодня в восемь опознала обоих — отдельно, как положено, каждого среди четверых. Аппараты — паспорта — бокс — Кузьмич — Лосева. Это лежит. Это не «он рассказал».

— А за ними? — спросил я.

— За ними — никого. — Она посмотрела на меня так, как смотрят на человека, задавшего вопрос, на который уже есть ответ, и её это устраивало. — Я искала. Двое, «Москвич» и яма с водой. Он даже скупщика не нашёл — сам по бане ходил. Ему нечего было бы отдать наверх, и никакого верха над ним нет. Он сам себе верх.

— Он бы и не нашёл, — сказал Виктор Ильич. — Его на полосе каждый знает: кто ему что доверит.

— Мазин под стражей, прокурор дал санкцию ещё в среду, — сказала Белова. — Кулаков задержан, за санкцией пойду завтра, оснований хватает. Нос ему ночью в приёмном покое вправили, врач сказала, что дышать будет. — Она помолчала и добавила — уже другим тоном, не для протокола: — Одеало его. Он сам сказал. Теперь я это знаю.

— Знаете, — сказал Виктор Ильич. — А ночью он мне объяснял, что это ему за август. Что при увольнении вычли за прогулы, недоплатили, и он, значит, взял в счёт. По одному, чтоб не сразу. Он это, Лида, так рассказывал, как будто я ему должен посочувствовать. Я и посочувствовал. До двух ночи.

— Вы с ним до двух сидели, — сказала Белова. — Я его в девять допрашивала — он мне ваши слова говорил. «В счёт».

— Зато говорил.

— Говорил. Я записала «в счёт». В кавычках. — Она прижала папку к боку. — Пойдёмте. Мне нужна её подпись, и я не хочу, чтобы она услышала от вас «всё» раньше, чем я скажу, что именно.

— Скажете, — сказал Виктор Ильич. — Вы всё скажете, Лида, вы по-другому не умеете.

Они пошли впереди, и я понял, что эти двое умеют не соглашаться без меня и что им это, кажется, нравится.

Хозяйственный отдел был в углу магазина, у окна на Рабочую, и в нём была очередь из двух человек: женщина с клеёнкой, свёрнутой в трубу, и мальчик за гвоздями, у которого деньги были в кулаке, а список — в другом кулаке. Нина стояла за прилавком в синем халате, с карандашом за ухом, и увидела нас в дверях сразу — и не подала виду. Она дорезала женщине клеёнку, ровно, по линейке, и спросила у мальчика, сколько ему гвоздей и каких, и мальчик развернул список, и она сказала «сотку — это вот такие, тебе точно такие?», и он сказал «мама сказала», и она отсыпала ему в кулёк. И только потом подняла на нас глаза.

— У меня завтра выходной, — сказала она. — А вы сегодня. Значит, вам от меня что-то нужно.

— Нина, — сказал Виктор Ильич. — Всё.

— Я знаю, что всё. Я их в восемь видела, обоих. — Она посмотрела на Белову. — Вы мне это по-своему скажете, Лидия Андреевна. Скажете. У меня минута, пока никого.

Белова сказала. Коротко — короче, чем нам во дворе: что оба задержаны, что других участников по делу не установлено, что за найденными приёмниками Кулаков уже не придёт, что остаток из кладовой заберут завтра машиной и пост снимут тогда же, а сегодня ей надо

расписаться вот здесь. Нина расписалась — не читая, потому что читать она не стала при нас, и это тоже было её.

— Тогда заберите вашего сержанта, — сказала она. — Сегодня. Он у меня во дворе третий день курит на ящиках. Ящики стеклотара, они ему не пепельница. Я ему говорила, он говорит: пост. Пост — это стоять, а не сидеть на моей таре.

— Он до завтра, Нина, — сказал Виктор Ильич. — Я ему скажу, чтоб стоял.

— И замок с приёмки чей теперь? Мне через приёмку каждое утро.

— Заведующей, — сказала Белова. — Я ей вчера отдала. И сказала, чтобы знала, что за ним.

— Она узнает, — сказала Нина. — Она теперь всё будет знать, до пенсии. — И повернулась ко мне. Я стоял у двери, где мне полагалось. — А губа у вас — это он?

— Это калитка.

— Калитка, — сказала Нина. — Ну да. С его-то фамилией. — Она подумала, стоит ли, и решила, что стоит. — Четверых поставили, все в кепках, как нарочно. Я его сразу. И он на меня посмотрел, — знаете как? Как на прилавок смотрят, когда денег нет: и надо, и не подойти. Я на него так же посмотрела. Как на недостачу.

Виктор Ильич засмеялся — тихо, одной грудью, — и Белова не засмеялась, но записала что-то в уме: я видел по её лицу.

— Спасибо, — сказала Нина. Один раз, Виктору Ильичу, без «вам всем». — Идите. У меня люди.

Людей не было. Была пустая дверь и улица за ней, и мы вышли в неё, и уже на крыльце Нина крикнула нам вслед, не выходя из-за прилавка:

— Виктор Ильич! Руку — не мочите!

— Не мочу, — сказал он, не оборачиваясь, и мы пошли к уазу через двор, и сержанта с ящиков Виктор Ильич снял сам, по дороге: сказал ему «Петя, слезь. Пост — это стоять. До завтрашней машины — стой», — и сержант встал так, как встают с поста, который надоел ещё позавчера, и курить не бросил, но окурок сунул в карман.

* * *

День ушёл на то, что не стоит рассказывать: Белова сидела с Кулаковым, мы с Виктором Ильичом ездили на полосу — Кузьмич расписался, не снимая очков, и сказал нам вслед, что свечи ему теперь одалживать не у кого; бокс опечатали, а приёмники ещё ночью уехали в отдел второй машиной, и Белова уехала с ними, сидя в кузове на брезенте, потому что иначе — не поехала бы. К шести всё, что можно было сделать в воскресенье, было сделано, и Виктор Ильич сказал: «Есть хочу», — так, будто это тоже было по делу.

Пельменная была за углом от отдела, на Рабочей, — низкая, с запотевшими окнами, с четырьмя столами под клеёнкой и с раздачей, за которой стояла женщина в белом колпаке, знавшая Виктора Ильича так, как знает его весь этот город: «Ильич, тебе с уксусом? А руко-то — что, до сих пор?» Виктор Ильич сказал: «До сих пор, Шура», — и получил сметаны больше, чем полагалось, а мы — сколько полагалось. Жук посмотрел в свою тарелку и сказал, что пельмени с хлебом. Не «с хлебом» — а что в них хлеб, вместо мяса, он это по цвету видит. Шура сказала от раздачи, не оборачиваясь: «Не нравится — не ешь», — и Жук замолчал и стал есть, потому что не есть он не умел.

Белова пришла позже, с папкой, села с краю, папку положила на колени, а не на стол, и ела так же, как читала постановление: ровно, не отвлекаясь, до конца. Потом положила вилку и посмотрела на меня.

— Вы пошли наперерез, — сказала она. — А вышли следом.

— Следом.

— Значит, расчёт был неточный.

— Расчёт был точный. Тропа кривая.

— Тропа — не расчёт.

— Тропа — местность. Я считал угол и не проверил тропу. Днём было некогда: вы не любите, когда люди пропадают с вашего обыска.

— Не люблю, — сказала Белова, и ей понравилось, что я это помню, — я видел. — Запишу: тропа.

— Он вышел там, где надо, — сказал Виктор Ильич, — раз мы все тут сидим. Лида, ешь. Ты ещё горячие не ела.

Она поела. Потом я спросил про то, что хотел спросить ещё в пятницу, у третьих ворот, когда слышал не всё.

— Виктор Ильич. Тот, в кепке набекрень, с «Запорожцем». Что он в него зимой лил?

Виктор Ильич отложил вилку. Посолил пельмени, хотя они были солёные. Посмотрел на Жука — так, будто спрашивал разрешения, — и Жук сказал: «Ну», — и это было разрешение.

— Гоша, — сказал Виктор Ильич. — Гоша у нас в феврале мотор потерял.

— Как потерял? — спросил Жук.

— Так. Пришёл в дежурку. В семь утра, в валенках. Говорит: мотор украли. Из машины, ночью, со двора. Я говорю: Гоша, из «Запорожца» мотор? Кому он нужен? Он говорит: мне нужен. Открываю утром капот — пусто. Запаска одна и тряпки. — Виктор Ильич съел пельмень. Медленно. — Поехали смотреть. Стоит во дворе, под снегом. Открывает капот — спереди. Правда пусто: запаска, тряпки. Я говорю: Гоша, а сзади ты смотрел? Он говорит: а что сзади? Сзади багажник. Открыли сзади. Стоит мотор. Весь. На месте. Гоша на него смотрел, как на воскресшего.

Жук положил вилку.

— У него мотор сзади, — сказал он. — У всех «Запорожцев» мотор сзади. Он на нём три года ездил.

— Ездил. Он в него не заглядывал. Ему было не надо: ездит — и ладно. А тут не завёлся, и он заглянул — спереди, где у всех людей. А там запаска. — Виктор Ильич помолчал. — Это не всё.

— Это не всё, — повторил Жук, и я понял, что он это уже слышал и ждёт, как ждут поворота на знакомой дороге.

— Он мне и говорит — там же, во дворе, над открытым мотором: Ильич, а я ж его вчера грел. Кипятком. Сосед сказал: залей в радиатор кипятку, прогрей и заводи. Я, говорит, чайник вскипятит, вышел, открыл спереди, радиатор не нашёл, — но горловину нашёл. И залил. Полный чайник. — Пауза. Виктор Ильич взял пельмень и не съел. — А у его горбатого «Запорожца» спереди, под капотом, — бензобак. И горловина его.

Жук ударил ладонью по столу так, что подпрыгнула горчица.

— Он бак кипятком!..

— Кипятком, — сказал Виктор Ильич. — Она у него до апреля не заводилась. Не потому что холодно — потому что в баке чай. А он всем на полосе говорил, что мотор ему ночью подменили. Так и говорит до сих пор. Я его в пятницу спросил — что лил, — он мне: «Ильич, ну ты чего, ну было и было».

Я засмеялся. Кажется, впервые здесь — не усмехнулся, а засмеялся, вслух, всей грудью, и губа треснула, и я засмеялся ещё и от этого. Жук смеялся так, что Шура выглянула с раздачи. Белова не смеялась. Она дождалась, пока мы кончим, и спросила:

— И вы это не оформили?

— Что, Лида?

— Заявление о краже мотора.

— Мотор на месте.

— Кражу, которой не было.

— Вот именно её я и не оформил, — сказал Виктор Ильич, и Белова посмотрела на него долго и всё-таки не улыбнулась — но что-то у неё в лице сдвинулось на четверть, как у человека, который решил не спорить не потому, что нечем.

Она ушла первой. Поднялась, взяла папку, сказала: «Завтра Мазин с девяти. Он мне будет объяснять, что Кулаков — сука. Я это уже знаю, но должна записать», — и ушла, и дверь за ней закрылась ровно, как всё, что она делала.

Жук доел, вытер тарелку хлебом — тем, который в пельменях, — и сказал, глядя не на меня, а в окно, за которым стоял узик:

— Прокладку я завтра поменяю. С утра. Только Рудневу я скажу, что сам нашёл. Ты не против?

— Ты и нашёл. Я только сказал, где поискать.

— Вот. Кто проверял, тот и нашёл. — Он встал. — Пойду греть.

— Вечер, Жук, — сказал Виктор Ильич.

— А она вечером что, тёплая?

Он ушёл. Мы остались вдвоём за столом с клеёнкой, с горчицей в стакане, с двумя пустыми тарелками и третьей, Беловой, в которой оставалось, — Шура убрала её и ничего не сказала, и это была любезность. Виктор Ильич сидел, положив левую на стол, — впервые за неделю не у груди, — и смотрел на неё, как на что-то, что ему вернули.

— Ботинки чьи? — спросил он.

— Мои. Старые.

— Велики.

— Два носка.

— Ну да. — Он подумал. — Руднев в понедельник спросит, как ты. Он всех спрашивает. Я ему во вторник сказал: не лез. Это была правда, и он записал. А в понедельник я ему скажу другое.

— Что?

— Что ты мой. — Он сказал это не мне, а руке на столе. — Ты со мной и раньше ходил. Я тебя брал, потому что так поставили: молодого — к старому, чтоб смотрел и не лез. Ты и смотрел. — Он помолчал. — А теперь я тебя беру не потому, что поставили. Сам. На всё, что будет. Как своего. Ты не против?

Я мог бы сказать что-нибудь подходящее. Я умел говорить подходящее — в той жизни это входило в работу. Но я сидел с разбитой губой, в чужих ботинках на два носка, напротив человека, который всю дорогу через два колена держал на бегу порезанную руку у груди, чтобы не бросить меня одного в лопухах, — и подходящее было бы ему обидно.

— Я против одного, — сказал я. — Что вы это у меня спрашиваете. Мне бы доложили, и я бы не спорил.

— Я не докладываю, — сказал Виктор Ильич. — Я спрашиваю.

— Тогда — да. Я ваш с прошлого понедельника, Виктор Ильич. Просто вы это увидели в субботу.

— Днём ещё, — сказал он. — Когда ты Жуку про прокладку. Я подумал: кто с Жуком про мотор может — тот с людьми сможет. Остальное я и так знал. — Он встал, тяжело, придерживая руку. — Пойдём. Надя ждёт, Жук греет, а у тебя ботинки.

Мы вышли. На улице было темно и по-сентябрьски холодно, окна пельменной за нами светились и потели, и узик стоял у бордюра, и мотор у него работал ровно — вечером она, видимо, всё-таки была тёплая. Я подумал про ту жизнь: там после закрытого дела я звонил сыну. Здесь в прихожей не было телефона, и звонить было некуда. Это болело. Но сегодня оно

болело не так, как должно бы, — и я знал почему: за столом только что сидели люди, которым мне ничего не нужно было объяснять.

Я открыл дверцу, сел, хлопнул — как надо.

— Вот, — сказал Жук, не оборачиваясь. — Научился.

И мы поехали по Рабочей, мимо тёмного магазина, мимо угла, где шесть дней назад я вошёл в чужую смену с чужого двора. Смена кончилась. Следующая, я знал, будет с этими же людьми — и оттого уже не такая чужая.

Глава 5. Плата за койку

Четырнадцатого сентября с полудня шёл дождь, и я впервые был благодарен коричневым ботинкам: в них хотя бы не текло.

Четыре дня после Кулакова прошли так, как проходят дни после закрытого дела, — быстро и ни о чём. В понедельник Руднев посмотрел на мою губу, спросил «это калитка?» таким тоном, будто калитку ему уже кто-то описал, и отправил меня к врачу — «повторно». Врач в поликлинике подвигал мне плечо, велел не улыбаться широко и написал в карточке коротко; Руднев прочёл и сказал: «Работайте». В тот же понедельник Виктор Ильич сказал ему то, что обещал сказать в пельменной, — я при этом не был, но вышел он от Руднева таким, будто выиграл спор, в котором и не сомневался. Во вторник ему сняли швы с руки, и он в тот же вечер, по словам Жука, вымыл её с мылом до локтя, как мальчишка, которому наконец разрешили в реку.

Плечо моё поднималось уже без толчка. Ладони затянулись. Губа сошлась в тонкую полоску, которую я щупал языком чаще, чем стоило. Полка в шкафу по-прежнему не была сделана; Вера об этом не сказала ни слова, но молчать она умела так, что было слышно из другой комнаты.

Эти четыре дня Виктор Ильич возил меня по заводскому району. Не по делу — по району: «Ты тут будешь ходить, так уж знай, где что». Переулки между цехами и заборами, пивная у проходной, где «после восьми не наливают, но наливают», сапожная будка, баня, дом, в котором «живёт Круглов, у которого пропадает всё, кроме жены», — он передавал мне не адреса, а людей, и делал это с удовольствием, как показывают гостю сад. Жук возил нас молча, с новой прокладкой; мотор теперь не троил даже на холодную, о чём он сообщил мне один раз, в понедельник, и больше не возвращался: ему было достаточно, что я знаю.

В четверг около восьми вечера мы возвращались с завода по Литейной, в темноте и дожде, и дворники ходили по стеклу с тем звуком, с каким ходят дворники на всех уязиках мира, — когда под панелью заговорила рация.

— Кравцов, дежурный. Где вы?

Жук взял трубку, не глядя, и сказал, где мы.

— Литейная, общежитие литейного. Вахтёрша звонит: на лестнице быют одного, трое, — кричит, убьют. Наряд у меня за рекой. Вы ближе всех.

— Мы в двух кварталах, — сказал Виктор Ильич. — Едем.

Жук уже ехал.

Общежитие на Литейной я видел днём: трёхэтажное, кирпичное, с длинными рядами одинаковых окон и с лампой над входом под жестяным козырьком. Сейчас окна светились почти все, и в двух на втором этаже стояли люди и смотрели вниз, на улицу, — так смотрят, когда внизу ничего не видно, но слышно.

Жук затормозил у самого крыльца, и я вышел раньше, чем уязик встал. Три ступени, две двери — наружная на пружине, внутренняя с разбитым стеклом, заклеенным газетой, — и я вошёл в вестибюль.

Слева — стол вахты под лампой, и за столом стоит женщина в вязаной кофте, полная, седая, с телефонной трубкой в руке, и кричит одновременно в трубку и вверх, на лестницу: «Милиция уже! Милиция едет, слышите вы!» Прямо — пять ступеней вверх, к нижней площадке, где лестница поворачивала и уходила дальше, а вбок от площадки открывался коридор первого этажа. И на площадке — трое стояли ко мне спинами и боком, а четвёртый лежал под ними у стены, и я увидел его ногу — в ботинке, в мокрой штанине, — которая дёрнулась от удара.

Ближний ко мне — молодой, в кепке, в мокрой куртке — стоял на самом верху ступеней, вполоборота, и смотрел не на того, кого били, а на дверь: сторожил. Он увидел меня первым. Я увидел, как он открыл рот, — и что он крикнул, уже не слышал, потому что шёл по ступеням вверх.

— Милиция!

Он ударил сверху. У него было пять ступеней преимущества, и он ударил так, как бьют сверху вниз, — с размаху, всей рукой, в голову. Я поднял левую. Кулак пришёлся в предплечье, у самого локтя; толчок прошёл по руке до плеча. Рука держала, и я не стал отступать. Я шёл вверх. Я вошёл под его руку, плечом ему в живот, и поднял его с последней ступени — он был лёгкий, мальчишка, — и он ушёл у меня с плеча назад, на площадку, на спину, и воздух вышел из него с таким звуком, будто наступили на мех гармони. Кепка укатилась под батарею.

Второй уже повернулся. Большой — на голову выше меня, в брезентовой куртке, с мокрой стриженной головой, — он бил лежащего ногами, и нога у него была ещё в замахе, когда он увидел меня, и он просто перенёс удар. Моя голова была на уровне его колена: я как раз выходил на площадку с последней ступени. Ботинок прошёл там, где только что было моё лицо. Я дёрнулся вбок; каблук прошёл у виска и скользнул по воротнику. Я поймал эту ногу. Общими руками, под колено, на возврате, — и выпрямился с ней, как выпрямляются с мешком. Он запрыгал на другой, взмахнул руками, и я толкнул его от себя, на перила. Он сел на них спиной, поперёк, и железо ударило его под лопатки, и я услышал это по его лицу.

Я не отпустил ногу. Я пошёл вперёд, на него, и он, держась на перилах, схватил меня за волосы — жёстко, в горсть, у затылка — и потянул голову вниз, к своему колену. Я отпустил ногу и ударил его. Коротко, правой, снизу, в лицо: раз — в губы, о зубы, — и два — туда же, и на втором ударе его затылок стукнулся о столбик перил, и хватка в волосах ослабла, и кровь у него пошла изо рта на подбородок сразу, много, как из опрокинутого стакана. Он не заорал. Он замычал, и я почувствовал, что он ещё стоит, что его много и что он собирается.

— Валим! — крикнул третий.

Третьего я до этого не видел толком — только руку, державшую лежащего за воротник. Теперь он отпустил воротник, и голова лежащего стукнулась о плинтус, и третий — в пиджаке, худой, с длинным лицом — шагнул через лежащего и побежал наверх, по второму маршу. Мальчишка в кепке поднялся на четвереньки, потом на ноги, кашляя, согнутый, и побежал за ним, держась за живот, без кепки. Большой оттолкнулся от перил. Он не побежал сразу — он сначала оттолкнул меня, обеими руками в грудь, всем своим весом, и мои коричневые ботинки на два носка поехали по мокрому камню площадки, по воде, которую натащили с улицы, и я сел. На чужие ноги. На ноги того, кого били. А большой пошёл наверх, тяжело, через две ступени, вытирая рот рукавом, и на третьей ступени сплюнул красным на стену.

Я поднялся и сделал за ним три ступени. Рука сама пошла под куртку, к кобуре, — и остановилась там, потому что я увидел лестницу.

На втором марше, выше, стояли люди. Женщина в халате с полотенцем на голове, прижавшаяся к стене. Мужик в майке с чайником — он так и держал чайник. Ещё двое, ещё кто-то выше, на повороте, — спины, лица, спины, — и все трое, кого я гнал, уже прошли сквозь них, как проходят сквозь кусты, и последний, большой, скрылся за поворотом, в коридоре второго этажа. Там, за спинами, был коридор, и в коридоре — ещё люди, и двери, и я не знал, что дальше. Стрелять в это было нельзя. Бежать в это одному, оставив на площадке лежащего, — тоже. Они знали дом, а я — нет. Я снял руку с кобуры.

— Коля! — сказал снизу Виктор Ильич.

— Знаю, — сказал я.

Внизу вахтёрша кричала уже не в трубку, а в лестницу, вверх: «Через кухню! Через кухню уйдут, там чёрный ход!» — и Виктор Ильич, не поднимаясь, повернулся к двери: «Жук! Во двор, за угол, к чёрному ходу!» — и наружная дверь хлопнула на пружине.

Я вернулся к тому, кто лежал.

Он лежал на боку, у стены, под окном с батареей, подтянув колени, и одна рука у него была под головой, а другая закрывала лицо — так закрываются, когда бьют, и он ещё не понял, что перестали. Я присел. Взял его за запястье — он не отдёргнул — и отвёл руку от лица.

Молодой. Лет двадцать пять. Стриженный, скуластый, с лицом деревенского парня, которое ещё не привыкло к городу. Нижняя губа лопнула посередине и уже вздулась, и кровь из неё была размазана по подбородку и по щеке — его же ладонью. Над бровью наливалась шишка. Глаза открыты, оба, и зрачки — я наклонился, чтобы свет с потолка попал ему в лицо, — одинаковые, и они пошли за моим пальцем, когда я его повёл. Это было главное, что я хотел знать сейчас.

— Милиция, — сказал я. — Всё. Кончилось. Как звать?

— Терехов, — сказал он, и губа мешала ему говорить. — Володя.

— Володя. Тошнит?

— Нет.

— Сколько пальцев?

— Два. — Он посмотрел на мои пальцы, потом на меня. — Два.

— Дыши. Глубоко.

Он вдохнул — и на вдохе скривился, выпустил воздух с шипением и прижал локоть к правому боку.

— Здесь?

— Ногами, — сказал он. — Он ногами.

Я расстегнул ему куртку, задрал свитер и рубашку. Бок был красный, ровно красный, с одним багровым пятном под рёбрами, и, когда я положил на него ладонь и нажал, он зашипел, но не закричал. Я убрал руку. По тому, как он берегся на вдохе, было ясно одно: в больницу. Целы ли рёбра, пальцами здесь не выяснить.

— Сядь. Помогу. Спиной к стене, головой вперёд. Вот так.

Он сел. Я держал его за плечо, пока он садился, и он весил, как весит человек, у которого от страха ещё не отпустило ноги. Кровь с губы капала ему на свитер. Я дал ему платок — свой, чистый, Вера гладила, — и сказал прижать, и он прижал и посмотрел на платок так, будто ему дали не платок, а что-то, чего он не заслужил.

— Кто это был? — спросил я.

Он посмотрел вверх, на лестницу, на второй марш, где стояли люди. Они стояли по-прежнему. Мужик с чайником опустил чайник.

— Не видел, — сказал Терехов.

— Как не видел! — крикнула вахтёрша. Она уже поднялась на площадку — тяжело, с одышкой, с трубкой, которую так и не положила, и шнур тянулся за ней от стола. — Генка Пахомов это! Из двенадцатой! Который в кепке — Генка, он у меня вчера утюг брал! Что «не видел»? Я видела! Я не слепая, мне шестьдесят один год, а не сто!

— А двое? — спросил Виктор Ильич.

— Не наши, — сказала она. — Первый раз вижу. Пришли в семь, сказали — к Пахомову; я говорю: к Пахомову — пожалуйста, они и пошли, и сидели где-то, а потом Володя с работы, и они его вот тут... — Она посмотрела на Терехова, и голос у неё сломался посередине. — Володенька. Ох ты ж, господи.

Виктор Ильич поднялся на площадку. Он посмотрел на Терехова, на кровь на стене — там, где сплюнул большой, — на кепку под батареей, на лестницу и на людей на лестнице. Долго. Не грозно — внимательно, по одному.

— Кто-нибудь ещё видел? — спросил он их. Негромко.

Женщина с полотенцем на голове ушла первой. Потом мужик с чайником. Потом остальные — не сразу, не все, а как уходят с остановки, когда автобус прошёл мимо. Лестница опустела.

— Понятно, — сказал Виктор Ильич.

Хлопнула наружная дверь, и в вестибюль вошёл Жук — мокрый, с дождём на плечах и в волосах, и на кафеле за ним оставались следы, тёмные, во всю подошву.

— Двор проходной, — сказал он. — Три калитки, гаражи, за гаражами насыпь. Чёрный ход открыт, замок сбит давно. Никого.

— Знаю, — сказал Виктор Ильич. Не ему — себе.

Он подобрал кепку из-под батареи, посмотрел на неё, как на документ, и положил на подоконник.

— Так, — сказал он. — Коля, ты с Володей — в больницу. Жук отвезёт и привезёт тебя обратно, я тут: с Тихоновной поговорю, по комнатам пройду, пока не легли. Жук, по дороге — дежурному: Пахомов Геннадий, отсюда, из двенадцатой. Он сюда сегодня не вернётся, но пусть знают.

— Вернётся, — сказала Тихоновна. — Куда ему. У него всё тут.

— Вот и посмотрим, — сказал Виктор Ильич, — что у него тут.

Терехов встал сам. Я держал его под локоть, Жук — с другой стороны, и он шёл между нами по ступеням вниз, как ходят по льду, а у стола вахты остановился и посмотрел на Тихоновну, и она посмотрела на него, и никто ничего не сказал. Потом мы вышли под дождь.

До больницы Жук ехал по городу так, как ездят с раненым: быстро на прямых, медленно на ямах. Терехов сидел сзади, со мной, прижимая мой платок к губе, и на поворотах придерживал бок. Раз спросил: «А в больнице — до утра?» — и я сказал: «Как врач скажет», — и он замолчал, и я понял, что «до утра» ему хотелось бы больше, чем «отпустят».

Приёмное отделение Зареченской городской больницы было то же, что десять дней назад: та же дверь под козырьком, тот же запах — хлорка и что-то варёное, — и медсестра в косынке за столом была та же, и Анна Михайловна вышла из-за занавески на звук двери, вытирая руки, — и увидела меня.

— Вы, — сказала она.

— Не я. Он.

Она посмотрела на Терехова — на губу, на то, как он держит бок, на мой платок, — и Терехов перестал быть для неё «он» раньше, чем она до нас дошла. Она взяла его под локоть с той стороны, где я не держал, и повела за занавеску, и на ходу говорила уже не мне: «Сюда. Садитесь. Куртку снимем. Ногами? По голове тоже? Сознание терял? Нет? Точно?» — а мне, не оборачиваясь:

— А вы подождите там.

— Мне надо с ним...

— Я знаю, что вам надо. — Она обернулась. — Вы мне сейчас нужны как стул. Сесть и не мешать. Через полчаса будете нужны как милиционер.

Я сел. Стул в коридоре был жёсткий, как та кушетка в прошлый раз, и я сидел на нём, только теперь с саднящими костяшками, — и слушал, что за занавеской. Там было тихо. Изредка: «Здесь? А здесь? Вдохните. Ещё», — и Терехов шипел на вдохе, и один раз она сказала: «Не терпите, мне надо знать, где», — и он сказал: «Здесь», — и голос у него был не такой, как на площадке. Спокойнее. Ей он верил сразу. Мне — ещё нет.

Через полчаса — я смотрел на часы над столом — Анна Михайловна вышла.

— Рёбра, по-моему, целы. Снимок утром: ночью рентген не работает. Губу зашивать не буду, стянется сама, но красивой не будет. Сотрясения не вижу. Но ногами по голове — это ногами по голове. Оставлю до утра. Наблюдать.

— Спасибо.

— Это не вам. — Она сказала это без злости, просто поставила на место. — Это ему. Он попросился до утра, и я бы оставила и без просьбы. Теперь — вы. Десять минут. Я буду рядом, и, если он начнёт вам врать от усталости, я вас выгоню, потому что от усталости врут все, а мне его завтра смотреть.

— Договорились.

Она посмотрела на меня ещё раз — уже не как на стул. На сбитые костяшки, на губу.

— Это не моё, — сказала она про губу.

— Калитка.

— У вас в милиции все калитки такие?

— Одна была. Я её закрыл.

Она не улыбнулась — но задержалась на полсекунды дольше, чем нужно, чтобы отвернуться, и этого хватило нам обоим. Потом отодвинула занавеску, и я вошёл.

Терехов сидел на кушетке без куртки, в рубашке, распахнутой на груди, с губой, смазанной чем-то жёлтым, и с пузырьком льда, который держал у бока. Он выглядел лучше, чем на площадке, — не потому, что ему стало легче, а потому, что здесь на него никто не смотрел с лестницы.

— Ты не хочешь возвращаться, — сказал я. Не спросил.

— Не хочу.

— За что тебя били?

Он посмотрел на Анну Михайловну. Она стояла в проёме, привалившись к косяку, со скрещёнными руками, и на нас не смотрела — смотрела в свои бумаги на столе, но стояла. Он посмотрел на меня.

— Я не заплатил.

— За что?

— За спокойствие. — Он сказал это так, как повторяют чужие слова, к которым привыкли. — У нас так. Платишь — и живёшь спокойно. Никто тебя не трогает, никто в комнату не лезет, вещи на месте. Не платишь — ну вот.

— Кому платишь?

— Не скажу.

— Знаешь — кому?

— Знаю. — Он помолчал. — Не скажу. Вы сейчас уедете. А я там живу. Мне там жить.

— Ты им сказал, что платить не будешь. При всех?

Он поднял на меня глаза. В них было удивление — и что-то ещё, стыд, кажется, — что я это понял без него.

— На кухне, — сказал он. — При всех. Я сказал: идите вы. Не ему... не тому, кто носит. Я сказал — идите вы все. — Он тронул губу и убрал руку. — Дурак.

— Не дурак.

— Дурак, — сказал он. — Так делают только дураки. Умные платят.

Я не стал спорить. Про умных он был прав. Я сел напротив, на табурет, чтобы не стоять над ним.

— Слушай меня. Я тебя ни к чему не тяну. Хочешь молчать — молчи, я тебе «как не видел» кричать не буду. Но сегодня ты остаёшься здесь, а завтра тебе куда-то идти. Об этом давай.

— Завтра на смену.

— С этим боком?

— Со справкой не выйти — бригадир... — Он замолчал. — Выйду.

Кто бригадир, я не спросил. Он бы не сказал, а я бы потерял то, что уже было.

— Ладно. Завтра утром я приду сюда сам, до твоей смены. Не в общежитие — сюда. И ещё: если тебе понадобится со мной поговорить — не звони с вахты. У вахты слышит весь дом.

— Знаю.

— Отсюда — в коридоре телефон. Потом — из цеха, с проходной, из автомата у бани, откуда угодно, где не слушают. Спросишь дежурного, скажешь: Сомову или Кравцову. Больше ничего говорить не надо — ни фамилии своей, ни откуда. Поймут.

Он кивнул. Потом посмотрел на Анну Михайловну и спросил — её, не меня:

— А если я ему не скажу... ничего. Меня всё равно — до утра?

— Вы у меня до утра, потому что вас били по голове, — сказала она. — Ваши разговоры меня не касаются. Мне за вашу голову отвечать. Хоть всю ночь молчите.

— Я и не прошу, — сказал я ей. — Я завтра приду тебя проводить, Володя. Скажешь, не скажешь — приду.

Я встал. Уже у занавески я повернулся к ней — сказать то, что мне хотелось сказать, и что я, ещё не договорив, сам бы не одобрил:

— Анна Михайловна, если он утром вам что-нибудь...

— Нет, — сказала она. — Я не почта. Он у меня больной, а не ваш свидетель. Захочет — телефон в коридоре, я ему покажу, где. Не захочет — не покажу.

— Правильно, — сказал я.

Она этого не ждала. Она ждала, что я буду настаивать, и приготовилась, и ей пришлось убрать приготовленное обратно — я видел, как она это делала, — и оттого следующее она сказала тише:

— Плечо?

— Чайник поднимаю.

— Через боль не нагружайте.

— Сегодня поднял человека.

— Я видела, как вы его вели. Это было полчеловека, а вторую половину вёл ваш водитель. — Она отодвинула занавеску, чтобы я вышел. — Идите. Утром — не раньше девяти, я его до девяти не отдам.

* * *

В общежитие мы вернулись в половине одиннадцатого, и в вестибюле нас встретила не Тихоновна, а ведро.

Оно стояло посреди кафеля, с тряпкой на краю, а рядом стояла женщина лет пятидесяти в пальто, накинутом на халат, и в косынке, из-под которой выбивались бигуди, — и, когда Жук — он поставил машину и ещё раз, с фонарём, обошёл калитки во дворе — шагнул через порог, она сказала ему то, что, видимо, говорила здесь всю жизнь:

— Стой! Ноги!

Жук остановился. Посмотрел на свои сапоги — в глине по шнуровку, — потом на неё.

— Я милиция.

— Милиция тоже ноги вытирает. Я этот пол сегодня второй раз мою. Первый раз — кровь, второй — ты. Третий раз мыть не буду, буду на тебя писать.

— У меня сапоги казённые.

— А пол у меня чей? Тоже казённый. Вон тряпка. Вытирай.

И Жук вытер. Стоя на одной ноге, потом на другой, тщательно, с тем лицом, с каким он менял прокладку, — и она стояла над ним, как стояла бы над любым жильцом, и следила, чтобы вытирал, а не возил. Виктор Ильич смотрел на это с площадки сверху и не вмешивался, и я понял, что ему это нравится.

— Раиса Семёновна, — сказал он мне. — Комендант. Она мне уже всё сказала: и про Пахомова, и про чёрный ход.

— Про чёрный ход я и вам скажу, — сказала она, не оборачиваясь от Жука. — Я про этот замок охрипла. Мне отвечают: нет слесаря. У завода нет слесаря! — Она повернулась ко мне. Лицо у неё было усталое и злое, и злость эта была не на нас. — Вы Кочетова ищите. Кочетов это. Он по комнатам ходит, он собирает — все знают, и я знаю. Заберите Кочетова, и у меня будет тихо. Я вам это как есть говорю, а вы уж пишите как хотите.

— А Пахомов? — спросил я.

— А что Пахомов? Пахомов дурак с кулаками. Таких в каждом коридоре по два. Кочетов — тот знает, к кому идти. — И ушла с ведром в свою каморку за вахтой, и дверь закрыла плотно, чтобы её больше не спрашивали.

— Он со второй смены, — сказал Виктор Ильич. — Кочетов. После одиннадцати придёт. Пойдём, я тебе одного человека покажу. Он мне чай налил, а тебе, может, ещё нальёт.

Коридор второго этажа был длинный, с лампочками через одну, с линолеумом, вытертым посередине до чёрной дорожки, и пах жареным луком, мокрыми куртками и табаком. Из-за одних дверей — радио. Из-за других — ничего, и это «ничего» было громче радио: дом лежал и слушал коридор.

Девятая комната была Кочетова — Виктор Ильич показал на неё, проходя, — и дверь была заперта. Двенадцатая, пахомовская, — не заперта: трое лежали лицом к стене, Пахомова среди них не было, а вещи его были на месте — Виктор Ильич уже смотрел. Он привёл меня в пятнадцатую.

Четыре койки, две застелены. Стол, клеёнка, радиоприёмник — тот же ВЭФ, что мы доставали из ямы, только старый, с треснувшей шкалой. Над одной койкой — фотография: женщина и девочка лет десяти в белых бантах, на фоне избы. Виктор Ильич прошёл к столу, сел на табурет и взял оставленную кружку, а на койке, под фотографией, в майке и тренировочных, — хозяин: лет сорока пяти, широкий, с опущенными руками, с лицом, которое на заводе называют «хороший мужик», и он был хороший мужик, и знал это, и это ему сегодня мешало. На соседней койке лежал парень, повернувшись к стене, и по спине было видно, что не спит.

— Гурьев, Василий, — сказал Виктор Ильич. — Литейка. Вася, это мой напарник, Николай Павлович. Ты ему скажи то, что мне.

— Я вам, Виктор Ильич, что сказал? Я ничего не сказал.

— Ты сказал, что платишь.

— Ну, плачу. — Гурьев посмотрел на меня, потом на фотографию, будто ей это объяснял. — Вы поймите. Это ж немного. Как за свет — за свет же платим и не спрашиваем, куда он течёт. А тут — спокойно. Пьяные не лезут, дверь ночью не ломают, вещи на месте. У меня дочка на каникулы приезжает, ей куда? Ко мне, на койку. И чтоб тут никто. Я лучше заплачу. Я не за себя.

— А если не платить? — спросил я.

— Ну, вы Володю видели.

— Я не про Володю. Я про тебя. Ты не заплатил — что?

Он помолчал. Парень у стены перестал дышать так, чтобы было слышно.

— Койка — от завода, — сказал Гурьев. — С завода ушёл — койку сдал, и прописку с ней. А в деревне что? Там жена одна с коровой. Очередь моя шестой год идёт, и я в ней посередине. Мне из-за... — он не сказал из-за чего, — мне это всё не бросить. Не на что бросить.

— А кто с завода уволит? — спросил Виктор Ильич. — За то, что не заплатил в общезжитии?

— Кто-кто. Бригадир скажет: не нужен ты мне в бригаде. И всё.

— Бригадир койки не даёт и не отбирает. Койку завод даёт.

— Вам-то легко, — сказал Гурьев без обиды. — Бригадир скажет — и я в другой бригаде, где меня не знают, на другом участке, где платят меньше. А потом — прогул, а потом коменданту бумажка. Виктор Ильич, вы это лучше меня знаете, чего я вам рассказываю.

— Знаю, — сказал Виктор Ильич. — Рассказывай.

— Всё. Больше нечего.

— Кому отдаёте?

— Лёне. — Гурьев сказал это, как сказал бы про погоду. — Кочетову, из девятой. Он ходит. — И добавил, глядя на дверь: — Он и сам не рад. Вы на него посмотрите — разве он рад?

— А Лёня кому?

— А я не спрашиваю. Я Лёне даю — и всё. Дальше не моё.

— Бригадир у вас кто? — спросил я.

— Костров. Толя Костров. Мы все у него: и я, и Лёня, и Володька.

Виктор Ильич ничего не сказал. Он допил чай, поставил кружку на клеёнку донцем точно в мокрый круг, где она стояла, и мы вышли. В коридоре Виктор Ильич остановился и потёр левое предплечье — там, где были швы.

— Кострова знаешь? — спросил я.

— Фамилию знаю. Знаю, что бригадир. Это мало, чтобы знать человека. — Он посмотрел вдоль коридора, на дверь в конце, за которой была кухня. — Он мне про койку сказал раньше, чем про деньги. Ты слышал? Про деньги я спросил, а про койку он сам. Вот что у него болит. Я ему: бригадир койки не отбирает. Это правда. А он мне: вам-то легко. И это тоже правда. — Он помолчал. — Сходи на кухню. Там один курит, я с ним уже говорил, он меня послал. Может, тебя не пошлёт: ты моложе.

Кухня была в конце коридора: две плиты, раковина, стол под клеёнкой, окно во двор, а в углу — дверь на чёрную лестницу, с верхним стеклом, покрашенным белым, и с вырванной задвижкой. Дверь стояла приоткрытая на ладонь, и из щели тянуло дождём. У окна курил парень лет двадцати двух, в тельняшке под расстёгнутой рубахой, стриженный по-армейски, — и, когда я вошёл, он не повернулся: он видел меня в тёмном стекле.

— Что, товарищ лейтенант, — сказал он стеклу, — ищите, кто в доме хозяин?

— Ищу, куда уходят.

— Туда. — Он показал сигаретой на дверь. — Все туда уходят. И вы уйдёте.

— Как звать?

— Славик. Сварщик. Отслужил. Что ещё?

— Платишь?

Он повернулся. Он ждал этого вопроса и приготовил ответ, и всё-таки сначала затянулся.

— А вы мне на лестнице стоять будете? Ночью? — Он выдохнул в окно. — Нет. Не будете. Вы сейчас сядете в свой газик и уедете, а я тут. А они — стоят. Кто платит, к тому чужие не ходят, у того из тумбочки часы не пропадают, того с получкой в переулке не встречают. Это не дань, лейтенант. Это как за сторожа. Я за сторожа плачу.

— Сторож сегодня Володю бил.

— Володя сам. — Он сказал это быстро, и его это, кажется, самого задело — как быстро он это сказал. — Он при всех сказал. Так не делают. Не хочешь платить — не плати, но молча: скажи, получки нет, потом отдам, договорись, как люди. А он — на весь дом. На весь дом — это уже не про деньги.

— А про что?

— Про то, кто тут кто.

— И кто тут кто?

Он щёлкнул окурком в окно, в дождь.

— Не я.

— Лёня кому носит?

— Не знаю. — Он застегнул рубаху на одну пуговицу, посередине, без нужды — просто чтобы что-то сделать руками, и руки у него были не такие спокойные, как голос. — И вы не знаете. И не узнаете. Потому что кто вам скажет, тот тут не живёт.

Он ушёл мимо меня в коридор, и я остался на кухне один — с дверью, из которой тянуло дождём, и с двумя ответами, которые не были похожи друг на друга ничем, кроме конца.

В той жизни у меня были для этого слова: запуганный свидетель, отказ от показаний, защита, которой на самом деле не было и там. Здесь слов было меньше, а дела — больше. Койка. Прописка. Бригада, в которой тебя знают, и другая, в которой не знают. Очередь на квартиру, шестой год, посередине. Дочка на каникулы. Отдел, из которого мы приедем, когда позвонят, — если позвонят, — а к тому времени они уже уйдут через эту дверь, на которую у завода нет слесаря. Гурьев боялся не Пахомова и не большого с окровавленным ртом. Он боялся обратно, в деревню, к жене с коровой. Славик боялся оказаться тем, «кто тут кто», — и заранее объяснил себе, что это не он. Сказать им «напишите заявление» можно было сколько угодно. Заявление уходило с нами. А они оставались, и лестница оставалась, и на ней ночью никто не стоял.

Чтобы они заговорили, нужно было сначала изменить то, чего они боятся. Как — я пока не знал.

Виктор Ильич ждал у двери пятнадцатой.

— Послал?

— Объяснил, — сказал я. — Что я не сторож.

— Ну да. Мне то же самое. — Он посмотрел на часы. — Одиннадцать. Кочетов вот-вот. Я его сегодня трогать не хочу: он придёт, Тихоновна ему всё выложит на вахте, он до утра не заснёт, а утром — с ним по-человечески, не в коридоре. Ты как?

— Я хочу посмотреть, как он придёт домой.

Он посмотрел на меня.

— Его весь дом ждёт. И тебя весь дом у вахты видел.

— Я не через вахту.

— Чёрный ход, — сказал он. — Замок сбит давно. — Он подумал так, как думал у стола в пельменной, прежде чем рассказать про Гошу. — А если он тебя там увидит, что скажешь? Калитка?

— Скажу — смотрел, куда ушли.

— Ладно. Жук за углом постоит. Час. — И громко, уже в коридор, на всю его длину: — Раиса Семёновна! Мы уехали! Пол ваш!

* * *

Через десять минут я стоял на чёрной лестнице, между первым и вторым этажом, в темноте, и вода с куртки капала на ступени.

Двор я обошёл под дождём: калитки, гаражи, чёрная дверь внизу, открывшаяся от одного толчка, — и лестница, узкая, с железными перилами, с окошками без стёкол, в которые задувало. Наверху, на площадке второго этажа, — та самая дверь на кухню, приоткрытая на ладонь. Из щели — свет и запах остывшего лука. Я встал ниже, на четыре ступени, так, чтобы видеть в щель стол и часть плиты, а меня из освещённой кухни было бы не видно вовсе. Это старое умение — стоять в темноте и смотреть на свет. Оно пришло со мной оттуда целиком, и ему было всё равно, какой на дворе год.

Кухня была пуста. Капал кран. Потом далеко, внизу, хлопнула наружная дверь на пружине, и голос Тихоновны поднялся по дому: «Лёня! Ох, Лёня, тут такое...» — и дальше тише, и долго, и я ждал.

Он пришёл на кухню, а не к себе. Худой, лет тридцати пяти, в мокрой кепке и в куртке, которая была ему велика в плечах, с авоськой, в которой лежал хлеб. Небритый. Он поставил на плиту чайник — не глядя, как ставят тысячный раз, — снял кепку, положил на стол и сел спиной к плите, лицом к двери в коридор. Ко мне он сидел боком. Лицо у него было такое, какое бывает у человека, который весь день ждал плохого и наконец дождался: не испуг — усталость от того, что теперь можно не ждать.

Дверь из коридора открылась, и вошёл Гурьев. В майке, в тренировочных, в тапках. Он подошёл к столу и положил перед Кочетовым сложенные бумажки — не глядя на них и не глядя на него, так кладут на прилавок, — и сказал:

— Лёнь. Менты были. Я — ничего. Ты не думай.

— Да знаю я, что ничего, — сказал Кочетов. Голос был ровный и негромкий.

— За меня и за Витьку. Витька в ночь.

— Ладно.

Гурьев постоял. Хотел, кажется, сказать ещё что-то — и не сказал, и ушёл, и дверь за ним закрылась. Кочетов сидел не двигаясь, пока шаги в коридоре не стихли. Потом достал из внутреннего кармана куртки конверт — старый, мятый, серый, без надписи — и вложил в него то, что оставил Гурьев, к тому, что там уже лежало. Я видел, что там уже лежало: конверт не был пустым и не был толстым.

Он положил конверт на стол. Посмотрел на дверь в коридор. Послушал. Потом полез в задний карман брюк — с усилием, привстав, — и вынул кошелек. Свой. Старый, кожаный, с латунной защёлкой, какие достаются от отцов. Он открыл его и вынул оттуда деньги — свои, из своего кошелька, — и это было видно так же ясно, как видно, чей хлеб в авоське. Разгладил их на клеёнке ладонью, по одной. Не считал: он знал, что там. Потом взял конверт и вложил их туда, к собранному, к гурьевским, к тем, что лежали раньше, — и защёлкнул кошелек, в котором осталось, судя по тому, как он его закрывал, немного. Сунул кошелек обратно в задний карман, а конверт — во внутренний, к сердцу, и застегнул куртку на этот карман.

Сел. Положил обе руки на стол, ладонями вниз. Так и сидел.

Я стоял на четыре ступени ниже света, с мокрым воротником, и смотрел на человека, которого комендантша велела мне забрать, чтобы стало тихо. Сборщик. Он ходил по комнатам, ему давали, он складывал в конверт, — всё так, как сказала Раиса Семёновна, как сказал Гурьев, как знал весь дом. И он только что доложил в этот конверт своих. Из потёртого кошелька. С таким лицом, с каким отдают последнее.

Зачем — я не знал. Он не выглядел человеком, у которого есть лишнее. И если он кого-то боялся — а он боялся, это было в руках на столе, — то не нас, милиции, которую сегодня видел весь дом. Нас он даже не ждал.

Чайник на плите начал шуметь. Кочетов не пошевелился.

Я мог войти. Сказать: Сомов, уголовный розыск, — и посмотреть, что станет с этим лицом. Я не вошёл. То, что я видел, надо было сначала понять, а понять это через дверь я не мог, и Виктор Ильич был прав: не в коридоре. Я спустился по чёрной лестнице, ступая на края ступеней, где не скрипит, вышел под дождь, закрыл за собой дверь, которая не запиралась, и прошёл двором к углу, где за гаражами, с погашенными фарами, грел мотор Жук.

Я сел, хлопнул дверцей как надо.

— Ну? — сказал Жук.

— Домой, — сказал я.

И всю дорогу по мокрой Литейной думал не о тех троих, что ушли через эту дверь, а о человеке за столом, который доплатил своими в конверт с чужими и застегнул на нём куртку.

Удобная версия, которую мне сегодня выдали на вахте, только что перестала быть удобной. А другой у меня пока не было.

Глава 6. Не тот сборщик

Пятнадцатого сентября дождь кончился к утру, и город стоял мокрый и тихий, как вымытый пол, на который ещё никто не наступил.

К Терехову я приехал в девять, как было велено. Анна Михайловна вышла в коридор раньше, чем я успел спросить, и сказала, что снимок ничего не нашёл, губа стянется сама, за ночь ухудшения не было, но при головной боли или тошноте надо вернуться. Потом посмотрела на мои костяшки.

— Это вчерашнее?

— Лестница.

— Я так и подумала, что что-нибудь такое. — Про плечо она не спросила: наверное, решила, что спросит в следующий раз, а следующий раз будет. — Он ваш. Одевается.

Терехов вышел в своей куртке, с жёлтой губой, держась прямее, чем ему хотелось, и в вестибюле протянул мне платок — застиранный в больничной раковине, ещё сырой, сложенный вчетверо, как складывают чужое.

— Оставь себе.

— У меня свой есть. — Он держал платок на весу, пока я не взял. — Я на смену.

— Скажешь что-нибудь?

— Нет. — Он подумал. — Пока нет.

Это было больше, чем вчера, на целое слово, и я не стал требовать второго. Он пошёл к остановке, придерживая бок локтем, и ни разу не оглянулся — так уходят люди, решившие, что за ними не смотрят. Я смотрел.

Виктор Ильич ждал в машине. Про конверт и кошелёк я рассказал ему по дороге сюда, и он тогда сказал только «угу», а теперь, когда я сел, сказал остальное:

— Я тут сидел и думал, зачем человеку класть своё в чужое. Придумал четыре причины. Три плохие.

— А четвёртая?

— Четвёртую он тебе сам скажет, если не спугнёшь. — Он повернулся к Жуку. — На Литейную. Только не к крыльцу. За угол, где вчера стоял. И потом за Беловой: она с утра сказала — как будет с кем говорить, чтобы её везли к нему, а не его к ней. Ей это важно.

* * *

Двор общежития днём оказался меньше, чем ночью, — так всегда бывает с дворами, в которых ты ходил в темноте. Три калитки в разных концах, ряд гаражей с покатыми крышами, за гаражами насыпь с сухим бурьяном, и всё это в лужах, в которых стояло небо. Слева, через узкий проход, — заводской клуб: жёлтый, с четырьмя колоннами и с афишей, которую дождь размыл до одного слова «кино». У гаражей стояла скамейка — не скамейка, а сиденье от грузовика на двух чурбаках, — и на ней сидел человек в ватнике поверх майки, в галошах на босу ногу, и пил кефир из бутылки, запрокидывая голову, как пьют после ночной, когда пить не хочется, а надо.

Виктор Ильич подошёл к нему так, как подходят спросить, который час. Я шёл сзади и остановился у угла гаража — не рядом, но и не в стороне.

— С ночной?

— С ночной. — Человек посмотрел на Виктора Ильича, на меня, на видневшийся за калиткой край уазика, и всё понял, и допил кефир до конца. — Вы вчерашние.

— Вчерашние. Кравцов. Это — Сомов, напарник. А вы Лёнин сосед. Девятая.

— Сычёв. Иван Данилович. — Он поставил бутылку на землю, к ноге. — А что Лёнин сосед — это вам кто сказал?

— Никто. Тихоновна вчера весь дом по комнатам перечислила: кто где, кто в ночь. А теперь вы с кефиром во дворе сидите, а не в комнате. Значит, в комнате кто-то есть, кому вы мешаете. Или он вам.

Сычёв посмотрел на него внимательнее. Он был лет пятидесяти пяти, с большими руками и с лицом, каким бывает лицо у человека, который двадцать лет смотрел на цех сверху, из кабины, и привык, что на него не смотрят.

— Он не спит, — сказал он. — Лежит и в потолок смотрит. Со вчера. Я при нём спать не могу — как при покойнике. — И тут же, будто спохватившись, что сказал лишнее: — Это я так. Это я не вам.

— Понятно, что не мне. — Виктор Ильич сел на другой край сиденья, и оно просело под ним, и Сычёв качнулся. — Крановщик?

— Крановщик. Мостовой.

— В литейке?

— А то где. В литейке. Двадцать один год.

— У Кострова?

— Крановщики не у Кострова. Крановщики сами по себе. — Сычёв помолчал. — Но цех один. И слово у него в цеху есть. Это он мне сам объяснил. Весной.

Виктор Ильич ничего не спросил. Он посмотрел на лужу у ноги Сычёва, на пустую бутылку, на насыпь за гаражами — не торопясь, как смотрят на чужой двор, в котором ничего не собираются менять, — и это заняло столько времени, сколько нужно было Сычёву, чтобы решить, продолжать ли. Тот решил.

— У меня дочка замуж выходила. В марте. Я всё, что было, туда отправил — это ж свадьба, по-деревенски, на три дня. И Лёне — не дал. Не то что не дал, а — сказал: Лёнь, потом. Он сказал: ладно. Он всегда говорит «ладно». А через неделю Толя пришёл. Сам.

— Сюда?

— В комнату. Вечером. Сел на Лёнину койку — не на мою, на Лёнину, — и говорит: Данилыч, я тебя уважаю. Мне за тебя перед людьми неудобно. Люди платят, а ты как барин. — Сычёв сказал это чужим голосом — ровным, свойским, с улыбочкой, — и было слышно, что этот голос он с марта носит в себе, как занозу. — А потом говорит: крановщиков, Данилыч, в городе на каждом заводе, а койка у тебя одна, и у меня в цеху слово. И Лёне: ты ему объясни. И ушёл. Рукой мне по плечу — и ушёл.

— А Лёня?

— А Лёня два дня со мной не разговаривал. Не потому что злился. — Сычёв поднял бутылку, посмотрел, что она пустая, и опять поставил. — Стыдно ему было. А на третий день сел ко мне на койку — вот как вы сейчас — и объяснил.

— Что объяснил?

— Что бывает. — Сычёв посмотрел на Виктора Ильича так, будто тот должен был сам знать. — А через день у меня бритва из тумбочки ушла. «Харьков», электрическая. Я её в Москве покупал. И я заплатил. И бритва вернулась — через день, в тумбочку, как не уходила. Вот и всё, что бывает. Это не Лёня взял. Лёня в жизни чужого не возьмёт. Это Генка. А Генку к Лёне Толя приставил — чтоб Лёня не жалел никого. Это я так думаю. Я не видел.

— А Толя что может? — спросил Виктор Ильич. — По правде. Уволить?

— Ничего он не может. — Сычёв сказал это быстро и зло — и понял, что это правда, и от этого стало не легче, а хуже. — Он может Генку прислать. И таких, как вчера. Всё. Больше он ничего не может, а больше и не надо.

Он встал. Ватник на нём был расстёгнут, и под ним майка, и он вдруг застегнул его на все пуговицы — как Славик вчера свою рубаху, — потому что руками надо было что-то сделать.

— Я писать ничего не буду.

— Я и не прошу. — Виктор Ильич показал ему обе руки, пустые. — У меня и карандаша нет.

— Вы Лёню не трогайте, — сказал Сычёв. Не Виктору Ильичу — мне, потому что я стоял и молчал, а молчащим говорят главное. — Он не тот. Он не тот сборщик. Вы на него посмотрите — он же ходит, как за гробом.

И пошёл через двор с бутылкой, в галошах по лужам, к крыльцу, и на крыльце разминул с человеком, который выходил, — худым, в куртке не по плечам, с авоськой в руке, — и они не поздоровались. Просто разошлись, как расходятся люди, живущие в одной комнате.

— Иди, — сказал Виктор Ильич. — Я тут посижу. Скамейка удобная.

Кочетов увидел меня, когда я был уже на середине двора. Он остановился на нижней ступени — авоська в руке, кепка на голове, — и посмотрел на меня, потом за меня, на гаражи, где сидел Виктор Ильич, потом на калитку, за которой стоял узик. Он ничего не спросил. Лицо у него было то же, что вчера у плиты: человек дождался.

— Кочетов? Сомов, уголовный розыск.

— Знаю. — Голос ровный, негромкий. — Мне Тихоновна вчера сказала, что вы придёте. Забирать?

— За что?

— Вам виднее.

Дверь за его спиной открылась, и на крыльцо вышла Раиса Семёновна — со шваброй, в том же пальто поверх халата, только без бигудей, — и сказала мне, как продолжают вчерашний разговор:

— Вот он. Кочетов. Я вам говорила.

— Говорили, Раиса Семёновна. Я слышал. — Я посмотрел вверх. В двух окнах второго этажа стояли люди — не те, что вчера, но стояли так же. — Кочетов, ты до смены ел?

— Что?

— Ел до смены? Столовая у вас где?

— На углу. — Он не понимал. — Рабочая.

— Пойдём, покажешь. Я с семи на ногах.

Он посмотрел на Раису Семёновну, на окна, на авоську у себя в руке — там был пустой бидон — и пошёл со мной к калитке. Не потому что хотел. Потому что выбирать было из этого и из крыльца, а на крыльце стояла комендантша со шваброй.

На улице он сказал:

— Зачем столовая? Спрашивайте здесь.

— Здесь окна.

Он поднял голову. Окна были: весь торец общежития, три этажа, и стоит ли кто за занавесками — неважно, когда живёшь под ними восемь лет. Он опустил голову и пошёл рядом, чуть впереди, показывая дорогу, и авоська с бидоном стучала его по ноге.

— Давно в литейке?

— Восемь лет. Формовщик.

— Хороший?

— Не жалуются.

— У Кострова?

— У Кострова. — Он сказал это без паузы, потому что это было не признание, а справка: мы все у него, сказал Гурьев, и Кочетов, конечно, знал, что Гурьев это сказал. — Все у Кострова. Вам же сказали.

— Сказали. Гурьев сказал: Лёне. А Лёня кому — не сказал. Я тебя не об этом спрашиваю. Кому — я знаю. Я спрашиваю: почему ты.

Он остановился. Мы стояли посреди мокрого тротуара, на Литейной, под голым тополем, и мимо шла женщина с сумкой, и он подождал, пока она пройдёт.

— Потому что мне дадут, — сказал он. — Меня тут знают. Я восемь лет. Я Гурьеву в прошлом году койку у коменданта отстоял, когда его хотели на третий этаж, к молодым. Я Славику после армии место в комнате — Славик мне в ноги не кланялся, но помнит. Толя так и сказал: тебе, Лёня, дадут. А Генке не дадут. Генке в морду дадут — и правильно. А тебе дадут, потому что ты хороший. — Он посмотрел на бидон. — Вот и всё «почему». Потому что хороший.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.